

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ



Юрий ВИГОРЬ

**У САМОГО
БЕЛОГО МОРЯ**

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·

В серии очерков молодого литератора Юрия Вигоря рассказывается о рыбаках, зверобоях, поморах Крайнего Севера. В центре внимания автора не только судьбы и характеры труженников Белого моря, экзотические картины их быта, но и ряд экономических и социальных проблем сегодняшнего дня, озабоченность будущим этого прекрасного края белых ночей.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я Р Е Д К О Л Л Е Г И Я :

БОНДАРЕВ Ю. В., БЕНЕНСОН А. Н., БЛИНОВ А. Д.,
ВИКУЛОВ С. В., ИВАНОВ А. С., КРАМИНОВ Д. Ф.,
ЛОПАТИНА Е. К., МЕДНИКОВ А. М.,
ПОВОЛЯЕВ В. Д., РОСЛЯКОВ В. П.,
СЕРГОВАНЦЕВ Н. М., ЧИВИЛИХИН В. А.,
ШАПОШНИКОВА В. Д., ШУРТАКОВ С. И.

В $\frac{4702010200-103}{M-105(03)85}$ 155—85

© Издательство «Советская Россия», 1985 г.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Юрий ВИГОРЬ

У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1985

ОТ МАЙДЫ ДО ДОЛГОЩЕЛЬЯ

1

Третий день иду я вдоль берега Белого моря тундрой, зыбким кочкарником, чем-то напоминающим холмики густо укрытых травой могил. Шагаю неторопливо: то и дело приходится обходить чаруса-трясины. Словно предупреждая о чем-то, всю дорогу преследует меня унылый крик золотистых ржанок, которые гнездятся на болотных выплавках, поросших бледно зеленеющим мхом. Ничто здесь не бросается в глаза, все обыденно, бесприметно. Безлесая ширь до самого горизонта, от века не знавшая ни бремени дорог, ни плуга, какая-то первозданная дикость, и кажется, не земля под ногами, а корка земли, плесневелая, никогда не просыхающая, рыхлая, в темно-бурых гнилостных пятнах, упругая и податливая под тяжестью шагов.

Если ковырнуть носком ботинка — блеснит, проступает снизу черная жижа, точно сукровица из пораненного места. Изредка встретится холмик, выпяченный метра на два над равниной, словно для того, чтобы взойти на него, оглядеться кругом, поразиться бесчисленности мертвых мелких озер в оторочке жирно чернеющего торфяника и, содрогнувшись от однообразно печальной картины и безлюдья, пасть духом усталому, свернувшему от побережья путнику и, зарекаясь ходить дальше вглубь, поспешить назад к морю.

Низкое, грязно-серых тонов небо затянато на востоке огромными войлочными облаками, непроницаемыми для солнца, и кажется, что изнемогающий под их тяжестью свод там, вдали, провис и касается кромки земли. Кругом стоит пронзительная, тревожная, оглушающая тишина, и будто слышишь шорох задевающих гори-

зонт облаков. Что-то влечет меня дальше и дальше в безмерность этого гибельного простора. Временами я оставаюсь, прислушиваюсь с какой-то смутной надеждой. Тишина.

Путь мой томителен, чувства иступились от однообразия окружающего, сосредоточиться на какой-то мысли невозможно, всю дорогу ищешь глазами перед собой: «Тут надо бы взять левее, вроде земля посуше, потверже. Лучше эту веселенькую наряднозеленую полянку обойти: под ней трясина». И я забираю то влево, то вправо, петляю, как заяц. Я потерял уже всякую надежду встретить ненцев, решил выйти к морю, дойти до тони и отдохнуть у рыбаков.

...У самого моря тундра кончается обрывистыми изрезанными распадками, исхлестанными шквальными ветрами угорами. Песчаный с частыми валунами берег завален под самые угоры побелевшими от моря, от соленых ветров бревнами, что носило по волнам от самого Архангельска, от устья Двины и, наконец, выбросило в прибылую воду, нагромоздило беспорядочно чуть не в человеческий рост. Кладбище строевого леса тянется насколько хватает глаз — огромные ели и сосны, из которых впору поставить здесь не один десяток деревень. Не надо рубить, сплавлять реками — материал прямо под рукой.

Лежит этот лес годами, гниет, замыкает его песком, стегает ветрами, а море щедро катит на берег все новые и новые бревна.

Истомленному путнику всегда есть, где укрыться от ветра за завалами, развести костер, обогреться...

В море на песчаных кошках матово поблескивают залитые зыбью валуны, лежат в окаменелой неподвижности морские зайцы, а по обнаженной оборочке, где высыхают оставленные ушедшей водой водоросли, хлопотливо ищут что-то кулики-сороки, которых здесь бесчисленное множество.

Далеко впереди серебристым маревом заслонили горизонт, протянулись от увалов к отступившему в отлив морю рыбацкие сети, расставленные на чернеющих высоких кольях. Это тоня, и, значит, где-то поблизости должны быть люди, должна быть избушка, наконец-то я услышу звук человеческого голоса...

2

Давно собирался я отправиться в поездку в Поморье, которую откладывал по независящим от меня обстоятельствам из года в год. Минувшей зимой, показавшейся мне в Москве бесконечно долгой и томительной, я не раз утешал себя мыслью: «Как только настанет лето, обязательно махну в эти заповедные края». И тут как нельзя более кстати предложение командировки от одной из газет на север, в Архангельскую область.

На пассажирском пароходе «Татария», когда плыл я от Архангельска, рыбак тралового флота, ехавший в отпуск в приморскую деревню, говорил мне, как-то особенно ласково и явственно произнося слова:

— Зря ты, паря, один пойдешь в тундру. Рискованно по этим местам. Мало ли чего... По берегу пески зыбучие. Ступишь — не выберешься. Кричи не кричи — все без толку. Тундрой ежели — тоже не малина. Хоть и местный я, а без парника не рискнул бы... Неуж не сыскал себе парника? А то давай со мной в нашу деревню. А? — хлопнул он меня рукой по плечу. — Село поморско, старинно. Хоромины у нас — четыре комнаты, места хватит. Рыбачить вместе будем.

И, видя, что я не соглашаюсь на его уговоры, он продолжал, бросив иронический взгляд на мой тощий рюкзачок, в котором были три смены носков, несколько банок тушенки и пачка индийского чая:

— Дак куда же с таким снаряжением? А чайник, а спальный мешок? Ты, паря, вроде как выбрался на за-

городную прогулку и к вечеру собираешься вернуться домой. Ведь тундра же! — увещевал он меня. Чудак ты, однако. Пропадешь, ой, зазя пропадешь.

— Да не страшай ты попусту человека, — повернулся в нашу сторону бородач, который стоял облокотясь на планшир и курил трубку, зажатую в огромном красном кулаке. Лицо его, изрытое оспинами, в редких пучках седоватой щетины на впалых щеках, было грубо и крепко, глаза горели неподвижно и сухо.

— Сейчас лето, — с растягом говорил он, — рыбаки на тонях. Что ни десять, пятнадцать километров — избушка. Накормят, напоят чайком, переночевать у себя оставят. Берегом пойдешь — завсегда жильё встретится, приветят.

Через час мы расстались. Подошедшая к борту «Дора» забрала трех пассажиров, почту, и мы направились к берегу, вошли в устье мелководной речушки, там я пересел на баркас с малой осадкой, рыбак довез меня до поемного заливчика, где у него были поставлены рюжи, а я пошел вдоль побережья, но потом, сокращая путь, свернул в тундру, чтобы не огибать мыс, выдававшийся далеко в море.

...И вот теперь здесь, в абсолютной безлюдной прибрежной тундре, где тишина безмерна и гнетуще огромна, мне не до возвышенных рассуждений, я озабочен простыми земными помыслами и прежде всего тем, где бы выпить, как пробраться по этому бездорожью и отыскать хоть какое-нибудь человеческое жильё. Мои уши, привыкшие к городскому шуму, изнемогают от тишины. Я пробую петь, но голос вязнет в пустыне, не знающей эха. Хотя путешествие длится только третий день, кажется, что я не разговаривал с людьми уже целую вечность. Язык мой вспух от молчания. Эта тишина тундры может убить, может измотать и довести до безумия. Да, нет большей ценности, чем общение с другим человеком.

...Разве мало было исхожено дорог, увидено и прочувствовано в командировочных поездках, разве встречу я здесь, на берегу Белого моря, каких-то особенных людей, разве живут они какой-то необыкновенной жизнью и волнуют их не те же заботы, что всех остальных? Чего же ты ищешь, отчего испытываешь сладостный трепет в предвкушении скорой дороги? Не кажется ли тебе этот зуд к путешествиям странным, идущим вразрез с человеческой природой, склонной к постоянству, определенности и вращению в привычном круге вещей? — спрашиваю я себя. И тут мне вспоминается один мой приятель, который жил в большом городе на юге. При наших коротких встречах он жаловался, что его одолевает какая-то непонятная тоска, неудовлетворенность собой, своей работой, которая прежде устраивала его, а с некоторых пор кажется прямо-таки каторгой, и если бы не семья, махнул бы на все рукой и уехал куда глаза глядят.

— А куда ты бы поехал? — спрашивал я его.

— А черт его знает куда, — отвечал он с какой-то ожесточенной печалью и, несколько озадаченный моим вопросом, смотрел, сдвигая брови, в вечернее небо, где носились стрижи. — Будь я свободен, уж куда-нибудь поехал бы, — вздыхал он. Его томила жажда Дороги, жажда вырваться из привычного круга вещей, вырваться хоть на время, потому что если человек испытывает неудовлетворенность собой, он связывает это с конкретным окружающим, с людьми, со службой, с местом жительства, и, кажется, стоит только вырваться — придет исцеление, важно только решить, куда ехать, важно только решиться... Но друг мой никак не мог решиться, он не хотел понять, что начало Дороги лежит в нем самом, поиск дороги, сама дорога начинается, пока еще сидишь на месте за своим рабочим столом, а всякая поездка будет только ее продолжением...

Он верно тосковал бы и на новом месте, потому что от простой перемены мест сумма желаний в его душе не изменилась бы. И что же удерживало его, как не он сам?

3

Впереди виднеется тоня, там предстоит встретиться с людьми, и я невольно уторапливаю шаг. Песок влажен и податлив под ногами, идешь почти бесшумно, каждый шаг впечатывается глубоко и отчетливо. Робкого, слабого плеска прибоя почти не слышно, отмельный берег отступил далеко и оттуда долетает едва уловимый шорох, легкое дыхание. Кажется, море притихло в изнеможении, и не верится, что через несколько часов оно начнет двигаться на сушу, тихо, крадучись, почти незаметно затопляя пядь за пядью.

Еще издали заметил я у края сети два странных предмета, чем-то напоминающих по очертаниям звериные туши — темные грузные тела, оттягивающие книзу невод, повисшие в трагической обреченности. То, что это не рыбы, не вызывало никакого сомнения. Я делал всяческие предположения, давая простор фантазии. На морских зверей очертания предметов были не похожи, обитателям же суши, по моему разумению, нечего было делать здесь, на пустынном берегу возле рыбацких сетей. Не отрывая взгляда от странных предметов, шел я к тоне, и каково было мое удивление, когда увидел я двухметровых оленей, которые запутались рогами в сетях и утонули, по всей видимости, во время последнего прилива. Странно все это было, странно и непонятно. Что было делать оленям здесь на берегу? Почему они запутались в рыбацких сетях?

Кругом было спокойно и миротворно. Обманчиво успокаивающе вызванивал плеск слабого прибоя, трепетала живым серебром упиравшаяся в горизонт и чуть колеблемая ветром равнина моря, в прояснившемся небе

парили чайки. Мной овладела какая-то безмерная грусть, точно предчувствие некоей неизбежности, от которой мне, как и этим оленям, никуда не уйти. Но тотчас все существо мое воспротивилось этому минутному чувству меланхолии, и острое желание двигаться, жить в отпущенном мне коротком сроке, которым волен я распорядиться, овладело мной, и, точно торопясь проявить свою волю перед лицом равнодушной природы, я шагнул к сети и попытался высвободить мертвых оленей, но все мои усилия были тщетны. Тяжелые слизистые туши оттягивали сеть, выпутать рога одному было не с руки, и я оставил это занятие, утешая себя тем, что еще вернусь сюда позже, вернусь с кем-нибудь из рыбаков. Вскоре различил я на побережье телегу, в которую была впряжена лошадь, и темневшую у дальней тони человеческую фигурку, которая копошилась у сетей. На пологом склоне виднелась изба с потемневшими от времени венцами бревен, зеленевших мхом у самой земли. Сердце мое убажилось при виде скромной этой обители и хозяина ее, спустившегося к морю. Как позже узнал я, звали тонщика Афиногеном, был он из деревни Майда. Высокий и хмурый мужик лет сорока, сросшиеся на переносье густые черные брови, точно наклеенные, выделялись на его бледном лице, развитые надбровные дуги странно выдавались вперед, образуя нечто вроде козырька над глубоко запавшими глазами, что придавало обличью вид мрачной и скорбной задумчивости. Держался он спокойно. Резкими и точными ударами короткой толстой палки Афиноген чекушил трепетно замиравшую в его крепких и белых, точно коренья, пальцах, семгу, тут же отбрасывал ее, не глядя, в сторону, оглушенную, исходящую мелкой дрожью, и недавно стремительные, бойкие рыбины, только что бившие с разгону в сеть, так что вся она ходила ходуном, падали, завалиясь на бок, на мелкое дно, и море у ног тонщика окрашивалось кровью. Картина была яркая, но невольно вызывала

странное сожаление, что вот через каких-нибудь десять, пятнадцать минут вся эта сильная, точно отлитая из сверкающего металла рыба, будет перебита, и смотреть уже будет не на что, кроме мужика, стоящего по колено в море, разбавленном на мелководье кровью.

Я остановился у входа в невод, куда вела узкая, на вершок не достигшая дна горловина, не решаясь войти внутрь, и молча дожидался, когда рыбак поднимет ко мне раскрасневшееся от работы лицо, но он словно и не замечал меня, поглощенный своим занятием, торопясь управиться, пока не начался прилив. Невольно я подумал, что мое появление не вызвало у него особой радости и, может быть, всем своим видом он хочет дать понять, что если я пришел с целью рядиться купить у него рыбу, то труд мой и всякие слова будут напрасны. Как знать, что думал он обо мне; верно, немало народу шастает тут по побережью, и может быть, кое-кто является на тоню в надежде раздобыть семгу.

Все же я не утерпел, решил войти внутрь невода, несмотря на останавливающее меня предчувствие, острое желание рассмотреть поближе живых еще рыб подтолкнуло меня. Я сделал два шага в горловину, ступая осторожно по сети, которая прогибалась и ложилась на дно под моими ногами, и тогда Афиноген, по-прежнему не глядя в мою сторону, не оставляя работы, отрывисто и коротко бросил:

— Посередке иди. Да на канат-то не стань, перешагивай. — Ободренный этим наставлением, в котором было разрешение войти в невод, я двинулся дальше, вошел в невод и остановился на сухом месте шагах в десяти от Афиногена. Он же с прежней деловитостью и привычной размеренностью движений все чекушил и чекушил рыбу, наконец выпрямился, отер лицо, окинул хозяйским взглядом невод. «Все вроде, управился», — говорил его вид. Вздохнул устало и оглянулся на море, чуть задержал на нем взгляд, будто молча благодарил его, и на-

правился к пустым мешкам, которые бросил на сухой песок неподалеку.

Тут бы, казалось, и приспело время обмолвиться нам друг с другом словом, и, не желая растягивать эту минуту, я сказал:

— Улов что надо.

Афиноген ничего не ответил, молча стал укладывать рыбу в мешок. Лицо его было по-прежнему спокойно и равнодушно, казалось, он боялся смутить привалившую ему удачу, словно кто-то мог услышать восторженные слова и отвлечь от него рыбацкое счастье.

Странная молчаливость Афиногена вызвала у меня некую неловкость. Я решил не произносить больше ни слова и дожидаться, когда, наконец, он сам заговорит со мной. Но эта игра в молчанку на пустынном берегу, томительная и гнетущая, раздражала меня, хотя и будила определенное любопытство. Взяв один из пустых мешков, я стал помогать Афиногену собирать семгу, прибиту ю к берегу мелкой волной.

4

Множество камбал сновали у Афиногена под ногами и тут же зарывались в песок, взмучивая ударами хвоста дно, не привлекали его внимания, надо полагать, рыба эта была копеечная и на рыбоприемном пункте ее не брали. Когда вся семга была собрана, Афиноген обошел невод, расправляя, отряхивая сеть, обирая повисшие гирляндами, запутавшиеся в ячейках водоросли. Собрал их в ком и бросил в море.

Мы вынесли мешки, уложили их в телегу, в которую была запряжена неопределенного серо-лилового линялого цвета кобыла, точно побывавшая неоднократно в химчистке. Афиноген придирчиво оглядел сбрую, поправил сбившуюся шлею, неторопливо взобрался на козлы,

разобрал вожжи, и кобыла без понукания тронула ленивым шагом. Отъехав уже метров десять, Афиноген, словно вспомнил обо мне, придержал вожжи, с неохотой обернулся в мою сторону. Я стоял в упрямом молчании и улыбаясь смотрел на него. Он перевел взгляд на вислоухую и безучастно покорную всему кобылу, которая стояла с понурым видом, и снова оборотился ко мне и с ленивым участием в голосе спросил:

— А тебе-то, парень, куда?

Мне показалось, что в голосе его была слабая надежда, что нам с ним не по пути.

— Да мне бы где-нибудь отдохнуть, чайку попить, а потом я дальше пойду, — протянул я безразличным тоном, стараясь показать, что не собираюсь навязывать ему свое общество и утруждать его старую лошадь.

— Ну, садись, что ли, — буркнул он, неохотно подвигаясь. — Лошадь у меня, сам видишь, цвет потеряла от старости. Сама себя едва носит... Сперва на другую тоную заедем, а уж потом ко двору.

Он чуть тронул вожжи, смачно причмокнул, словно посылая в пространство воздушный поцелуй, лошадь двинулась, заскрипели обода, колеса утопали в песке, с трудом прорезая в нем глубокую колею. Берег был изрезан промоинами ручьев, которые вытекали из оставшихся после отлива лагун и еще с журчаньем несли воду в море. Казалось, отлив продолжает свою незавершенную работу. Афиноген то и дело подергивал вожжи, объезжая попадавшиеся навстречу валуны. О чем-то он думал, супил сросшиеся брови, едва приметно шевелил ими, точно этими движениями руководила какая-то упрямая мысль. Мы ехали в молчании, колеса телеги пластали медуз, вдавливали в рыхлый песок бурые водоросли, в изобилии устилавшие наш путь. В небе развиднелось, верховой ветерок разогнал низкие облака, их отнесло куда-то в сторону, проглянуло солнце, и весь берег разом преобразился, заблестал, заискрился влажным

песком, множеством мелких луж, точно пляж после недавно прошедшего ливня. Стало даже жарковато. Решив разрядить разговором нашу езду, я рассказал Афиногену о мертвых оленях, но он не выказал ни малейшего удивления: чуть скосил в мою сторону глаза и с невозмутимым выражением на бесстрастном лице ответил:

— Бывает и такое. Комар гонит олешек из тундры. Прошлый год тут у тони лось утонул. Лето, шкура линяет, а как выйдут на берег, на ветерок, ищут обо что бы потереться, деревьев-то нет, вот и трутся боками об колья у сети. А сеть нынче — нейлон. Лосю и тому не порвать, не то что олешкам.

— Это дикие олени? — полюбопытствовал я, стараясь не дать оборваться зыбкой нити разговора.

— А вот приедем, дак поглядим. Ежели на ушах метки, значит отбились от стада, не доглядели ненцы. Тогда надо им по радию сообщить.

С моря донесся какой-то протяжный томительный звук, напоминающий усталый вздох морского зверя. Чайки парили над самыми нашими головами. Тоня была уже близко, видно было, как в неводе плещет рыба, темнели на мелководе стальной синевой упругие спины, взблескивали на солнце светлеющие бока.

— А тони у вас добычливые, с виду-то просто, а хитро придумано, — сказал я.

— От берега к неводу завеса, потом, значит, горло, — пояснил Афиноген, растягивая слова. — Горло в невод ведет. За неводом в море отбой, чтоб заворачивать семгу, направлять ее, как отходит, к горлу. — Он испытывающе смотрел на меня, стараясь понять, зачем спрашиваю я его об этом.

Наверное, Афиноген задался вопросом, что я за личность, для чего заявился на тоню и куда собираюсь дальше, но меня ни о чем не спрашивал. Молча приглядывался ко мне, и мы ехали, каждый думая о своем.

Да и разве одно лишь слово служит средством общения. Почему мы так торопимся нарушить молчание, оставшись один на один с малознакомым человеком, точно испытываем к разговору какое-то властное понуждение. Как часто за разговорами мы не замечаем поवादок друг друга, поглощенные болтовней, озабочены тем, чтобы скрыть за шелухой слов наши истинные намерения. Может быть, наши повадки, выражение глаз, особенность одежды говорят о нас точнее и подробнее, нежели речь, в которой всегда есть определенная искусственность и зачастую скрытый умысел. Разве порой не испытываем мы невольную неприязнь к незнакомцу, от которого не услышали еще ни одного слова, а иной разговорчивый человек сразу же вызывает у нас симпатию и невольное расположение.

Кто знает, может быть, Афиноген не расспрашивал меня, больше доверяя своим глазам. Да и так ли важно, кем я стал рисоваться перед ним, начини он теревить меня вопросами. Может быть, отсутствие к моей личности любопытства — некая мудрая линия поведения, и есть за всем этим какая-то манера, подсказанная опытом. Этот человек при всей своей внешней грубоватости чем-то вызвал у меня симпатию, оставаясь в то же время загадкой, и я испытывал рядом с ним какую-то внутреннюю скованность.

Мы подъехали к тоне и высвободили из сети утонувших оленей.

— Олешки-то колхозные, — заметил Афиноген и показал мне отметины, вырезанные в ушах. — Приеду в избу, свяжусь по радиции с ненцами, — кивнул он в сторону тундры. — Пусть сами и сообщают в колхоз. Акт надо составить, чтоб списали.

— Пока приедут из колхоза да акт составят — мясо успеет протухнуть, — заметил я.

— А хоть и протухло бы, все одно его есть никто не станет — утопленники, кровь ведь не спущена. Только разве его собакам. Наши деревенские собаки сожрали бы, а ненецкие лайки дак навряд ли. А оленей, — махнул он рукой, — спишут. Чего теперь-то жалеть.

Не оглядываясь, Афиноген направился к неводу. Широкая сугорбая спина его покачивалась, шел он широко расставляя ноги, точно в качку по палубе, руки энергично двигались вдоль туловища. Он заметно поторапливался. Вот-вот должен был начаться прилив. На море по внешнему виду ничего не изменилось, гладь его была все также бестревожна и блистала лениво, миротворно, но сновавшие у самого уреза воды кулички подняли восторженный писк. В воздухе наметилось легкое движение, потянуло сыростью. Легкий бриз заворачивал с моря.

Афиноген чекушил рыбу, работа его подходила к концу. Я направился к нему, мы уложили рыбу в мешки, погрузили их на телегу и тронулись к избушке. Справа от нас, заслоняя обрывистый берег, по-прежнему тянулись завалы леса. Я обратился к Афиногену:

— А что, этот лес никто не вывозит отсюда, неужели нельзя использовать его в дело? Ведь здесь же миллионы кубометров.

— Дак вывозили, и сейчас вывозят наши деревенские. Сделают плитку из дюжины бревен и плавят морем карбасами в деревню. По восемь рублей за бревно продают, а ежели распиленный да рубленый, так двадцатка за сажень.

— Вашим деревенским этого леса и за сто лет не перевозить. А не наведывались ли за лесом из Архангельска?

— Как же, пытались вывезти, — прерывисто вздохнул он. — Годов шесть тому приволок буксир из Архангельска две баржи, поставили на якорях, плавили лес катерами по большой воде. Грузили, грузили, а к вечеру потянул сам-север. Парко потянул, волна поднялась.

Шторминушка пал. Им бы сразу с якорей-то сняться да от берега отринуть подале. Ан маленько замешкались, одну баржу и выбросило на кошку. Весь лес, что погрузили, покидало обратно на берег. Насилу потом стащил ту затопленную баржу буксир. С тех пор зареклись, видеть, ходить за лесом сюда, плюнули на эту затею. Так от. Не вывезли наших запасов. У нас ведь поблизости лесов-то нет, одна тундра кругом гола. Морюшко о нас заботится, и накормит и обогреет. Море — наше поле, как говаривали старики. Не с берега — с моря кормимся.

Под угором против избушки Афиноген распряг лошадь и повел ее в тундру, где оставил пастись, пока не приспеет время снова осматривать тони. Вернувшись, он достал из мешка две семги и стал разделявать их на песке рядом с небольшой лагуной. Извлек внутренности, вырезал из них длинные матово-сизые пупки, остальное отбросил в сторону. Тотчас набросились кружившие с истощенными криками чайки, драчливо, оттесняя друг дружку, мигом растащили с жадным проворством кто что успел.

— А пупки зачем вырезал? — спросил я.

— В пупках самый смак, — ответил, ухмыльнувшись, Афиноген. — Вкус ухе придают особенный. Без пупков семужья уха — не уха. Они вроде как специя. Ну ладно, пойдем в избу, что ли, — сказал он, промыв рыбу в лагуне.

— А мешки с рыбой? Так и оставим?

— Дак пусть стоят, кто их здесь тронет. Вечером машина пройдет собирать рыбу с тоней, дак спущусь да дам. Дело привычное.

6

По узкой песчаной тропочке мы поднялись на угор. Рядом с избой был вкопан в землю иззелена-сизый от древности крест, высокий, массивный, чуть похилив-

шийся, со скошенными пижней и поперечной перекладинами. На нижней перекладине были глубоко вырезаны ножом буквы: «ГГАГ». На верхней — «ИНЦИ», а на ноге креста сверху вниз парные буквы: «КИ, КА, КТ, МА, РБ». В этой криптограмме, дававшей невольно простор воображению, таилось какое-то загадочное чарование. Могильного холма не было. Если когда-то он и был, то время давно разрушило его, сровняло с землей.

— Это чья же могила? — спросил я.

— А кто его знает, давно ставлен крест, более ста лет, — неохотно ответил Афиноген. — Старики не помнят, а где уж мне знать. Может, знамение, чтоб отводить беду от рыбаков, может, знак мореходный. Поперечина-то, что примечательно, в точности направлена с севера на юг. Прежде говорили «с ночи на летник». Я проверял по компасу как-то. Невзначай заметил. Стоит себе крест, никому не мешает, никто его не трогает. На многих тонях можно таки встретить. Ты в избу-то проходи, разболакивайся, — сказал он, — а я тут на озерцо неподалеку за водой...

Афиноген достал из-под навеса два ведра, но все не уходил, медлил, тщательно осматривал их, отколупнул приставшие ко дну какие-то травинки. Хотя вид у него был сосредоточенный и в лице была какая-то отстраненность, но по тону его голоса, по тому, как он отводил от меня глаза, мешкая уходить, с чрезмерной придирчивостью скреб ногтем дно и один раз, как бы исподволь, бросил в мою сторону взгляд, я понял, что он ждет, не предложу ли я пойти вместе с ним. Нет, надо полагать, не потому, что боялся оставить меня в избе одного. Теперь, когда работа была закончена, спешить ему было некуда. Как видно, общество мое все же ему было чем-то интересно, неловко было только приглашать гостя идти с ним вместе по воду.

— Пойдем на озерцо вместе, — предложил я.

— Ну, ежели тебе охота, дак пойдём, — протянул он мне пустое ведро.

Озерцо лежало во впадине метрах в ста пятидесяти от угора. С воды поднялась стайка уток, потянула над землей, опустилась на соседнее озерцо. Вдоль торфянистого берега, поросшего низким осотом, перебежала и затаилась в траве золотистая ржанка. С берега озерцо казалось чистым, прозрачным, но стоило Афиногену ступить в него — со дна клубами поднялся ил, вода будто закипела от множества лопавшихся пузырьков. Афиноген поставил ведро на валун, выступавший на треть над поверхностью озера, достал из кармана куртки марлю, расправил ее, накрыл сверху ведро и стал наливать воду деревянным черпаком, который был у него припрятан в траве на берегу.

— От кого прятал ковшик, кому его здесь взять? — спросил я.

Тонщик с недоумением посмотрел на меня, словно удивляясь странности этого вопроса, смущенно улыбнулся и покачал головой.

— Дак привычка. Взять его тут, конечно, некому. Мудреная вещь — привычка. Я после армии три года жил на Украине, штукатуром работал. Специальность строительную приобрел после стройбата. Привык, как все штукатуры, прятать свой мастерок, а ковшик-то, он вроде как мастерок, значит. Схороню в траве и вроде как надежнее. Избу, где приемник и вещи, уходя на цельный день не запираю, а ковшик, значить...

Точно чего-то устыдясь и спеша перевести разговор на другое, он стал пояснять мне, почему наливает воду через марлю.

— Козявки вредные водятся в этом озере. Вода вкусна, мягка, лучше, чем в соседних озерах, и мыло мылится лучше, потому как нет здесь извести, а вот мелкие такие козявочки есть, оне ведь понимают, зараза, где лучше да слаще. Не процедишь воду — брюхо после пу-

чит. Лошадь из этого озера никогда не станет воду пить.

Мы поднялись наторенной тропочкой к избе, оставили ведра с водой под навесом, Афиноген растопил печь, установил на огонь казан для ухи.

Изба у Афиногена чистая, просторная, с одним чуть перекошенным окошком на море. Вдоль стен в два яруса нары, задернутые занавесками из цветастого ситца. Рядом с печью полки с припасами чая, сахара, соли, которых хватило бы на несколько месяцев и для четверых. У окна, на выскобленном до белизны столе, транзистор, на гвозде — морской бинокль и портативная рация в кожаном чехле. Бревчатый свод настила темен, в разводах копоти, напоминавших поблекший замысловатый рисунок, но над нарами было выбелено известью, которой, как видно, не хватило на весь потолок.

В печи, наполняя избу уютом и теплом, глухо с монотонным подвыванием, с предсмертным потрескиванием поленьев, гудело и словно злобилось от тесноты, от сдерживающего его каменного свода, пламя, бросая из поддувала на пол дрожачие, розовые отблески.

Афиноген опустил в казан крупно нарезанные куски семги, из-под крышки выбивался густой парок, сладко дурманивший, распространявший по избе крепкий запах, будораживший уже томившееся предчувствием чрево, призывно и настойчиво щекочущий ноздри.

Афиноген сел на лавку против меня и уставил пристальный взгляд в окно. Короткие редкие ресницы его чуть приметно вздрагивали, в темных глазах отражался крест оконного переплета.

Шел уже прилив, вода прибывала почти незаметно, но из окна мне видно было, что часть сети, называвшаяся отбоем, наполовину затоплена.

Шеренга черных высоких кольев словно уходила в море, неся на плечах растянутую снасть.

Я представил себе, как сидит Афиноген вот так в избушке один, напарник его уже месяц на сенокосе, и в

его одинокой жизни незаметно проходят дни, недели, месяцы. От тонщика вроде бы ничего не зависит, от погоды все зависит, от того, какой ветер подует, какое будет течение. А пойдет семга к берегу или нет — это уж как бог на душу положит. Великое терпение надо иметь, чтобы сидеть вот так у моря и ждать, а отлучиться в деревню, что лежит в пятидесяти километрах, где у Афиногена молодая жена и дети, нельзя, идет промысел, и каждый день короткого лета дорог, лето, как говорится, зиму кормит.

О чем он думает, лежа на нарах и дожидаясь отлива, о чем мечтает, отгороженный от всего мира этим пустынным берегом? Глаза сейчас у Афиногена какие-то напряженные, страдальческие. Он долго смотрел в окно, словно меня здесь в избушке рядом с ним не было. Пришел я к нему — ну и ладно, а уйду — он тоже не загрустит. Был я здесь, не было меня — что изменится в его неторопливой и размеренной по часам приливов и отливов жизни? Мне думалось, живет он один уже второй месяц, а потребуется, просидит и до конца лета, если на сенокосе не будет хватать рабочих рук и никто не придет, не сменит. Эта сдержанность его, погруженность в некое летаргическое состояние — разумно выработанный психикой настрой, защитная реакция человека на вынужденное длительное одиночество. Будь он по натуре жив и весел, будь говоруном и шутником — ему бы здесь одному не вытерпеть, не прельстили бы никакие заработки. Северные характеры вырабатываются годами, и люди волею судеб привычны к долготерпению.

7

И вот уха готова. Наваристая, с золотистыми блестками жира на чуть мутноватой, ломающейся под черпаком густой пленке. Крупные розовые куски семги вязки и сочны, с пряным и нежным вкусом. Кажется, ничего

вкуснее не доводилось мне пробовать прежде. Мы молча, неторопливо и пристально едим, словно совершаем важную работу, и теперь молчание, воцарившееся между нами, кажется мне оправданием.

Распарившись от ухи, разомлев и обмякнув, я ощутил во всем теле какую-то сонливую тяжесть, отупляющую, пьянящую сытость. Хотелось тотчас завалиться на нары и уснуть. Успокаивающе потрескивали в печи отгоревшие поленья. Казалось, и пламя пресытилось, утомилось от жаркой работы и медленно затихло, обессиленно роняя в поддувало изредка выпадавшие на пол легкие угольки.

Афиноген принес и поставил на стол закипевший чайник, подвинул ко мне печенье, кулек с конфетами...

— Угостить мне тебя больше нечем. Уха да чай, чай да уха — вот и вся наша рыбацкая пища. Картошки у меня нет, а хорошо бы поесть отварной картошечки. Сегодня семгу едим, завтра семгу, каждый день семга и семга. Хоть бы какие пакеты суповые завезли к нам в магазин. Может, где в городах семга в диковинку, а нам на тонях она приелась во как, — сделал он жест рукой выразительный и чиркнул себя ладонью по горлу. — Казан ухи семужьей отдал бы за вермишелевый супчик. Переводим дорогую рыбу, а пакетики суповые с концентратами никто не заботится к нам завести. Мы с напарником моим на уху за сезон расходует не меньше полтонны рыбы. Я ведь завтра уху сегодняшнюю есть уже не буду — выплесну, новую сварю и снова казан. Мало ли кто в гости зайвится. А то бы пару пакетов в обед, пару на ужин... В городах семгу продают по девятнадцать рублей за килограмм. Это же сколько мы изведем за сезон дорогой рыбы?

— Примерно на десять тысяч рублей, — сказал я.

— Так. А сколько тонн по всему побережью? И ведь все рыбаки каждый день варят уху, хоть и осточертела она здесь каждому. А нам бы сюда копеечные пакеты

суповые с концентратами — вот тебе государству и экономия. Так? Да только никто об этом мозгами не раскидывает. — Он потер тыльной стороной ладони щеку и угрюмо посмотрел на меня, словно я имел какую-то причастность к вопросам снабжения.

— Ты часом не знаешь, как там, в больших городах есть сейчас такие суповые пакетики или нет?

— Навалом, — заверил я его. — Сколько надо и в любом гастрономе, бери — не хочу.

Он иронически усмехнулся и покачал головой. — Вот выберусь в отпуск зимой, в Ленинград поеду к сестре двоюродной, там уж накоплю суповых пакетов рублей на десять. Ребятам нашим раздам. Хоть какое разнообразие будет в питании. А то у меня из-за этой рыбной диеты уже который год печень пошаливает. Дак у нас почитай все здесь на побережье печенью мучаются. Печень и повышенное давление. У меня в деревне соседка фельдшерница, так сказывала: почти все сплошь гипир...

— Гипертоники, — подсказал я.

— Во-во, — засмеялся он.

— Как думаешь, пойдет по вечерней воде семга?

— Кто ж его знает. Может, пойдет, а может, и нет.

— Выходит, в работе твоей от тебя ничего не зависит, сплошная неопределенность?

— Это как же не зависит, — вскинул брови Афиноген и сделал строгое лицо. — Очень даже зависит. Тоню поставить — тоже соображение надо иметь. У одного тонщика глядишь, ловится, а на другой тоне зайдет в невод пяток рыб, и все. Тю-тю. В одном море вроде ловим, а у всех по-разному. В траловом флоте вон — ловят сейнеры в одном квадрате и снасти у всех одинаковы, а кто едва на план натягивает, а другой триста процентов перевыполнения дает. Во всяком деле наперво от человека, от споровки все зависит, а море, оно ко всем одинаково, только сумей взять у него, соображение на то имей.

— Ты что же, в траловом флоте плавал? — полюбопытствовал я.

— Да пять лет ходил. Последние два года помощником тралмейстера, — со значительным видом ответил он.

— А почему же на берег сошел?

— Надо было. Ушел, и все тут. — Он посмотрел в окно, вздохнул каким-то своим мыслям. Потом взял хлопущку, припечатал надоедливо зудевшую на оконном стекле муху и скovyрнул ее пальцем на пол.

— История со мной такая вышла, товарищ дорогой. Неприятная, сказать тебе, историйка. — Он глянул на меня, словно прикидывая, стоит ли рассказывать про историю эту, стоит ли откровенничать со мной.

— Ловили мы, парень, в Атлантике. Дело осенью было. Шторма затяжные, ветра приемистые. Мотало нас недели две без перерыву. Оба кошелька — снасть так зовется — попортило, поободрало об камни. Чиним на палубе, руки леденеют на ветру. Заскочишь в каюту, когда совсем уж немоготу, обогреешься чуток — и снова на ют за работу. Авось утихнет, да рыба пойдет. План-то давать надо, снасть должна быть в полной готовности. Ну, работаю я, чиню где порвато, а тут волна ударила порато большая и слизнуло меня за борт, как кутенка. Я, скажу тебе по совести, дорогой товарищ, минуту ту и не помню. Видать, ошавел с перепугу, вышибло меня враз из сознания, а это уж про все мне на другой день сказывали. Бросило, значит, меня тем взводнем за борт, и кто видел это — думали каюк мне, безнадежное дело. Где уж тут помочь подать. В такую погоду помочи не жди. Не то что человечешко, а и шлюпка в волнах затеряется и сгинет. А только не судьба была мне сгинуть в чужих водах, подхватило вдругорядь встречным взводнем и доставило в аккурат обратно на судно, опустило ровнехонько на ростры, на верхнюю шлюпочную палубу позади капитанского мостика, значит. Полежал я маленько, обретался, и диву

даюсь, зачем забрался сюда, когда меня внизу работа ждет. Делать мне на рострах нечего вроде было, никак в толк не возьму, зачем я здесь — трезвый ведь подчистую. Только чувствую — сосет внутри, жрать охота — смерть, и вроде обессилел я маленько. Спускаюсь себе неспешно на камбуз, подхожу к коку: «Дай мне пожрать, мил человек, — прошу, — не обедал я сегодня, упустил из виду за работой». А он мне грубо так: «Не мути мозги, Афиноген, скажи попросту, аппетит на свежем воздухе разыгрался, а то — не обедал. Я тебе еще добавочную порцию супа насыпал». Рассерчал я на него, обругал почем зря, стою на своем — не обедал, и все тут; дело принципа. Он обиделся, заткнулся, сует мне в окошко холодную порцию второго и отворачивается. Я съел. Еще требую. Он мне молча вторую порцию подает. А в столовую команды народ сверху повалил, смотрят на меня, шепчутся промеж себя о чем-то, вроде как дивуются, вроде я оборотень какой. Я себе упрямо и все никак в толк взять не могу, чего они глаза на меня пялят, чего собрались тут. Тут старпом входит, живо выпроводил всех наверх, сел за стол со мной рядом, потребовал у кока для себя тоже порцию. Тот, конечно, подает, но удивляется, встревожился парень. А старпом ему со значением подмигивает, успокаивает — мол, не удивляйся ничему, проголодались люди, что тут необыкновенного. Ест старпом и вроде невзначай мне говорит: «Что, проголодался, Афиноген?» — «Да, ослаб что-то, совсем живот подвело от холода, — отвечаю, — не обедал я сегодня». — «Да, — говорит, — я и сам, вишь, проголодался, а за компанию все веселей, за компанию и черт повесился. Ешь, ешь», — подбадривает меня, велит коку разогреть какао. Тот засуетился, пичкает меня, даже пирожки какие-то подсунул. «Может, еще, Афиногеша, порцию второго?» — ухмыляется кок. «Нет, — говорю, — премного благодарен, заморил червячка, пойду опять чинить кошель». А старпом меня удерживает за

руку: «Там сейчас, Афиноген, и без тебя ребята управятся, иди к себе в каюту и чуток поспи, а потом тебя разбудят, я позабочусь. Шторм еще дня три не утихнет, сводку получили, так что спешить тебе с починкой снасти не к чему, терпит время». А меня и вправду какая-то сонливость одолела. Хоть с ног вались в сон. «Какой, — думаю, — с меня сейчас работник, раз я с ног валюсь от усталости, еще чего доброго смоем волной за борт. И до чего же чуткий человек наш старпом, умеет понять состояние человека, вроде как в душу тебе смотрит». А он, старпом значит, кладет мне по-отечески руку на плечо и ласково подталкивает, чтоб я шел к себе в каюту. «Ладно, — говорю, — я не более как часок сосну, Василий Степаныч, а потом уж сразу на палубу...» Пошел я в каюту к себе, стянул с себя рокан и бутсы, завалился на койку и враз как отрубился. Шестнадцать часов кряду проспал. Очухался аж на другой день. Проснулся, на ручные часы смотрю — стоят. Время два часа показывают. В кубрике нет никого. Я по-скорому оделся и выхожу на палубу. Тут молодой матрос, шкершик, навстречу мне вывернулся, улыбается чему-то ехидно, подмигивает. Гугнивый такой шустрец. «Что, — говорит, — выспался, утопленничек? Определенно в рубахе ты, Афиноген, родился, завидую я твоему необыкновенному счастью. Я, чтобы испытать такое, ящик коньяку б не пожалел. Мы уж с ребятами вчера думали — кормить тебе акул в чужом океане». Рассказал мне про все, что вчера было, и как смыло меня, и как забросило обратно на ростры, и как три порции второго я умолот, на кока накричал зря. Про три порции и разговор с коком я и сам помнил, а вот про то, что за борт меня смыло, за шутку дурную принял. Такими вещами во флоте не шутят. Обиделся я даже на него, за грудки было взял. А он мне: «Пусти, чокнутый, чего на людей кидаешься, не веришь словам моим — поди у кого хошь сам спроси». Отпустил я его. К одному, к другому с

расспросами. Оторопь меня взяла. «Что, братцы, — спрашиваю, — неужто и вправду меня за борт вчера смыло?» Отворачиваются, отворачиваются все кого ни спрошу. Один говорит: «Да брось ты думать об этом, не было ничего, подшутил над тобой этот дурак, я вот ему по шеям накостыляю». Но я уж по лицам понял, что правду тот матрос сказывал, хоть все остальные и скрывали от меня. А это старпом, значит, наказал всем, чтоб ничего мне про то не сболтнуть, нельзя про такие вещи говорить человеку в рейсе; до берега далеко ведь, море кругом, свихнуться можно очень даже просто, не говоря уж про то, что какой после с человека работник, на палубе остаться не сможет.

Тут я, признаюсь, поверил словам того молодого матроса и как-то враз сломался. Ушел в каюту, заперся там, двое суток никому не открывал, все силился припомнить, как вышло со мной такое приключение, до мелочей день тот восстанавливал в памяти. Все помню, а ту минуту страшную как вырезал кто из памяти. Представляю себе картину эту — холодный пот прошибает, ноги становятся ватны. Меня особо-то и не тревожили, только кок стучался в каюту, пожрать приносил. Но я и ему не открывал. Потом уж проголодался шибко, сам вышел из заточения. А только на палубе я после того работать уже не мог — терялся. Все норовил ухватиться руками за борт, суетился бестолково, дело валилось из рук. Все думаю про то, насилую свою память. Мне вспомнить бы, так, может, оно и полегчало маленько. Ан как отрубил. Наваждение какое-то. Усомнился я в своем уме, веру в себя потерял. Поставили меня до конца рейса подменять рулевого матроса. Незаметно доглядали за мной, как бы я чего не выкинул, не сделал с собой чего худого.

Афиноген протяжно вздохнул, встал с лавки, прошелся по избе, попросил у меня закурить. У печи он присел, сунул в потухающие угли лучину. Вспыхнувший

огонек задрожал слабыми отблесками на его впалых, с трехдневной щетиной щеках. Он сощурился, покачал головой, как бы прислушиваясь к чему-то в себе. Наружно Афиноген по-прежнему был спокоен и невозмутим, и только по тому, как часто делал затяжки и тщательно сбивал ногтем пепел с кончика сигареты, можно было догадаться, что он разбередил себя этим рассказом.

— Но все это еще полбеда, — продолжал Афиноген погодя. — Что главное — стал меня с того дня голос преследовать, шептун какой-то в голове моей объявился. Стою я ночью у руля, а он меня охмуряет: «Прыгай, Афиноген, за борт и иди на берег пешком, нельзя тебе никак оставаться на судне. Останешься — не дойти судну до берега, все через тебя погибнут. А море тебя не примет, не потонешь, дойдешь до берега пешком». Ну прямо-таки какая-то колдовская сила тянула прыгнуть за борт, и что удивительно — верил я тому голосу, что и вправду не потону, дойду пешком до берега. Помутнение в мозгах, видать, вышло. Вцеплюсь в штурвал и стою, обливаюсь холодным потом, отгоняю от себя тот голос, стараюсь думать о жене, о детях, а он свое бубнит и бубнит: «Прыгай». Я, конечно, никому про то ни слова. Засмеют ведь потом мужики, придурком сочтут. Все надеялся, что пройдет это у меня через какое-то время, отпустит наваждение. Ан нет. Ходит за мной тот проклятый шептун по пятам. Замкнулся я в себе, ни с кем не перемолвлюсь словечком, боюсь, как бы чем не выдать себя, и все думаю, думаю. Прямо-таки мыслителем стал, ночами не спал, все думал, что же это такое делается со мной, откуда во мне порча такая. Понимал, конечно, что глупость, гибель верная прыгнуть за борт, а по ночам брало меня сомнение и верил, что и вправду не примет меня море, раз выкинуло обратно на ростры. Вот каки дела-то. Тебе небось чудно все это слушать, может, думаешь, врет мужик. Да я бы и сам не поверил, если б мне кто такую историю рассказал.

Мало ли что можно сочинить от скуки. Со стороны оно, конечно, вроде как побасенка придуманная. Мне-то сейчас и самому вспоминать чудно, что со мной приключилось такое, а только порато напугался я тогда, хоть и не считал себя никогда из робкого десятка. Ошавел, как тюлень раненый. Ну ладно, дотерпел я до конца рейса, а как на берег сошел — сразу в управление тралфлота; взял расчет и сюда, домой. В кадрах объяснил, что письмо от жены получил и требует она меня домой по строгому делу. Капитан сразу заявление подписал, не стал ни о чем расспрашивать. На прощание говорит: «Ждем тебя, Афиноген, обязательно ты должен вернуться к нам. Верю, что определенно вернешься». Я еще недельку ошивался в Архангельске. Как на берег ступил — сгинул тот окаянный голос. Стал я спать нормально по ночам. Может, думаю, вернуться обратно на судно? А все же сомнение меня брало. Вдруг, думаю, как выйдем в море, опять во мне эта порча объявится. Слажу ли с собой? Рейс-то не маленький — шесть месяцев. Не шутка. А у меня ведь дома двое детей, жена одна не прокормит. Не за себя одного опасался.

Афиноген затушил сигарету и бросил ее в зиявший чернотой зев печи. Лицо его было строго, он помолчал, почесал скулу и долго, пристально смотрел в окно.

8

— Временится, — нарушил молчание Афиноген. Голос его был уже совершенно другим, проскользнуло в нем какое-то благодущие.

— Временится? — вопросительно посмотрел я на него, не улавливая смысла этого нового для меня слова, и на всякий случай глянул в окошко на море, точно оттуда должно было прийти объяснение.

— Чудится, — пояснил он. — Дымка такая над морем в тихую погоду, а в дымке то́ч видения разные.

— Мираж?

— Ну мираж, а у нас говорят временится. Судно видишь там, у горизонта?

Я придвинул лицо к самому стеклу, но сколько ни напрягал зрение, сколько ни рыскал по горизонту, нигде не мог обнаружить ни корабля, ни даже рыбацкого бота. Далекая, смутная, саднящая светом призрачная пелена, то сгущаясь и повисая непроницаемой дымкой над морем, то расступаясь и обнажая местами горизонт, серебрилась на стыке неба с водой. Обманчивое марево, в котором при избытке воображения можно было угадать очертания всего, что угодно — и острова, поднимавшегося над морем, и медленно движущийся айсберг. Я молча кивнул, как бы выражая согласие, что в этой дымке и судно угадать не мудрено, и продолжал глядеть в окно, зачарованный странным зрелищем. Погода стояла штилевая, необозримая гладь словно была укрыта тугой маслянистой пленкой, и под этим тяжелым блещущим одеянием моря, лоснившимся, как шкура тюленя, угадывалось легкое колебание, дремлющая до поры до времени затаенная мощь.

— Полгода с тех пор прошло, а веришь ли — не могу до сих пор вспомнить, как тогда очутился я за бортом, — словно не досказав мне еще самое важное, продолжал Афиноген медлительным тоном, будто размышляя вслух. — И ведь не ударило меня ни обо что, не повредило, не оцарапало даже, а в аккурат положило на ростры целехонького. Бывает, лежу тут на нарах, ночью и все думаю, точно вижу себя на судне, дружков вспоминаю. Душа тоскует. Зовет меня море, зовет. Иной раз ой как тянет. Хоть завтра же ушел бы в рейс.

Он резким жестом дернул ворот рубахи, словно отгоняя какое-то видение, отер ладонью лицо от лба к подбородку и посмотрел на меня с решимостью:

— Да что вспоминать-то, что без толку думать про то, что было. Жить надо, жить — Он заговорил часто, и,

словно повеселев от какого-то неожиданно созревшего в нем решения, будто ему только и не хватало этого случайного разговора со мной, и выговорившись, перетряхнув заново лежавшие в нем грузом воспоминания, он увидел все происшедшее с ним в каком-то новом свете, хотя я ничем не помог ему, был просто слушателем. Так иногда бывает, что, рассказывая кому-то о себе, мы заново осмыслием случившееся, и на события неожиданно проливается новый свет; то, что нам казалось значительным, внезапно блекнет, и мы невольно обрываем себя на полуслове...

— Осенью, как снимем сети и уйдем с тони, подам заявление, поеду в Архангельск. Главное бы на свой сейнер снова попасть. Там от всех этих дум проклятых избавление. Дружки-то мои небось решили — уволился Афиноген, перетрухал. А я вот он, объявлюсь к ним неожиданно-негаданно. Скажу: справил дела дома, порыбачил на тоне и снова к вам. Принимайте опять в свою компанию Афиногена.

Я не верю в неожиданность принимаемого человеком решения; надо думать, мысль о том, чтобы уйти с тони и снова вернуться на судно, давно зрела в нем, нужен был только какой-то незначительный толчок.

Афиноген глянул на часы и, спохватившись, снял со стены радиопередатчик.

— Полтретьюго, а ненцы с двух до трех выходят в эфир. Он шелкнул тумблером. В избу хлынул, будто внезапно пробили брешь в стене, плещущий шум эфира, покатались тягучие шорохи, сквозь которые долбило с унылым упорством какое-то попискивание. В этой сложной, загадочной какофонии изредка прорезались звуки далеких голосов, кто-то кого-то вызывал на прием, но не отвечали, и в голосах было что-то тревожное.

— Вершок Четыре, Вершок Четыре, я Вершок Восемь, как слышите меня? Прием.— Раз пять повторил Афиноген, пока, наконец, из эфира не выплыл в ответ

чей-то резкий и бодрый, частивший скороговоркой голос:

— Я Вершок Четыре, я Вершок Четыре. Это ты, Афиноген? Как живешь-можешь, как рыба ловится? Зачем звал?

— «Зачем звал?» — усмехнулся я. — Совсем как золотая рыбка, которую с трудом докличешься выплыть на берег моря.

— Живем — не тужим, — перекрывая шум эфира, гудел мягкий баритон Афиногена. — Тут дело такое произошло... Два олешка вышли из тундры к тоне, запутались рогами в сетях. Накрыло их в прилив. Я сперва-то не заметил. Потопли. Приедете посмотреть али нет? Думаю, ваши олени, на ушах метки есть. Может, от вашего стада отбились. Как понял меня? Прием?

— Понял, понял. Спасибо, что сообщил. Приедем, приедем. К вечеру приедем, когда стадо пригоним из тундры. Как понял меня, Афиноген?

— Понял. До малой воды постарайтесь приехать, а то уйду осматривать тони. У меня все. Будь здоров.

Афиноген выключил передатчик, повесил бережно на стену и, поглядев на меня, усмехнулся.

— Что, в сон тянет? После ухи семужьей завсегда в сон тянет, такое у нее свойство особенное. Видать, ты, парень, порато приморился в дороге. Да ты ложись на нары, спи.

Я разулся и, последовав его совету, завалился на широкие нары. Кровь гудела ртутью в отяжелевших ногах, отдавала мягкими ударами в висках. Веки, точно намагниченные, сами собой наплывали на глаза, и не было сил удержать их. Передо мной поплыли видения недавней дороги. Казалось, я по-прежнему все еще шагаю тундрой, и пути моему не видно конца. Чей-то голос шептал мне в ухо: «Ой, не ходи ты, паря, один по этим местам, пропадешь, зазря пропадешь».

Разбудил меня звук хлопнувшей двери. Не открывая глаз, лениясь вернуться к действительности и словно зажимая в сознании щель, через которую просочился этот слабый будоражащий звук, точно фальшивая нота, вызывающий неудовольствие, я подсознательно стянул куртку с головы, чтобы открыть ухо. Мнилось, что я сплю у себя в комнатке на восьмом этаже в московской квартире, и вот сейчас мимо двери проплывут шаркающие шаги моей соседки Маргариты Васильевны, но слышавшиеся рядом шаги были не старчески шаркающие, а легкие, кошачьи упругие, под ними мышинным писком отзывались половицы, и я тотчас проснулся. Чей-то хриплый гортанный голос прорезал тишину, сон сдуло, будто легкую паутину, зыбкую и не оставившую даже рисунка в памяти.

— Здорово живем! — сказал кто-то. — Афиногеша-то где?

Я поднялся с нар и свесил ноги. Передо мной стоял низкорослый человек со смуглым, глубоко исхлестанным морщинами лицом. На ногах его были кожаные чулки, от пояса ниспадала какого-то неопределенного цвета юбка, перепоясанная по кострецам засаленным, потемневшим от времени узким сыромятным ремешком. С лысеющей птичьей головы в перьях длинных седоватых волос, уцелевших только над ушами, был откинут на плечи черный ситцевый капюшон, схваченный спереди у подбородка грубыми тесемками. Всем своим необычным видом и обликом незнакомец чем-то напоминал героя из романов Фенимора Купера.

Человек в нерешительности потоптался, лукаво и настороженно оглядел меня и, очевидно, оставшись доволен моим миролюбивым видом, подпернул одной рукой свою затасканную юбку и полез в карман оказавшихся под ней брюк, заправленных в чулки, за сигаретами. Он

сел на лавку, поглядел в окно и благодушно замурлыкал под нос какую-то песню. Курил он «Дымок», вставляя сигарету в обугленный маленький, совсем почерневший мундштук, размером с карандашный огрызок, которым по всей видимости чрезвычайно дорожил и хранил на груди под одеждой в каком-то потайном кармашке. Незнакомец уставился на меня, а я в свою очередь с выжиданием смотрел на него, не сразу сообразив, что это ненец, приехавший из тундры за утонувшими оленями.

— Ты кто? — не моргая, щуря от густого дыма глаза, в упор спросил он.

Я несколько опешил. Было в этих словах детски непосредственное любопытство, но эта неприкрытая откровенность невольно вызвала у меня улыбку, и я лукаво отвел:

— Странник.

— Странник? — недоверчиво повел он головой, стряхнул пепел и едко усмехнулся. При этом брови и губы его исказились в иронической гримасе.

— Так, так, — протянул он, точно размышляя над моим ответом и причмокивая пересмякшими губами. — А путь куда держишь, странник?

— Куда придется, — ответил я. — Где пустят в избу — заночую, а не пустят — дальше иду. Хожу вот, смотрю, как люди живут.

— Совсем как Иисус Христос, — затрясся он от мелкого смеха, обнажая прокуренные мелкие зубы, закашлялся, замахал перед лицом рукой, разгоняя дым от чадившей сигареты. От смеха лицо его сделалось чрезвычайно добродушно, в глазах погас лукавый недоверчивый огонек. Смеялся он заразительно, открыто, и во мне тотчас растворилась образовавшаяся в первую минуту неловкость перед незнакомым человеком. В его поведении было что-то подкупающее, невольно располагавшее к нему.

— Будет врать-то,— откашлявшись, сказал он.— Какие тут странники, тут кругом одна тундра. Наверное, ты журналист, раз умеешь ловко завирать. Небось про утонувших олешек писать будешь?

— А что, разве нельзя?

— Пиши, пиши, бумага все терпит. Кормиться всем надо. Был у нас тут, право давно, один москвич, написал, что у ненцев кривые ноги. Обидел, право, нас. Ты глянь,— живо вскочил он с лавки, задрал юбку и стал хлопать себя по худым ляжкам, притопывать, прохаживаться по избе с манерностью и щегольством актера.

— Разве ж кривые? — то отступал он, то подступал ближе ко мне. Глаза его блестели возбужденно, насмешливо, и я затруднялся понять, то ли он шутит и дает волю природному артистизму, то ли его самолюбие действительно задето, но он маскирует ущемленное чувство под маской фиглярства.

— Ежели будешь про нас писать — не про ноги пиши, про тундру пиши. Пиши, как пасем олешков, напиши, что нам домики разборные все обещают да никак не завезут, движками для освещения во время полярной ночи не снабжают. Напишешь?

— Обязательно напишу.

— Да хоть и напишешь — все одно никто про это не напечатает,— махнул он рукой.

— Послушай,— сказал я,— возьми меня с собой, как поедешь в стойбище назад. Поживу у вас с недельку, познакомимся поближе, тогда мне будет о чем писать, а то ты сразу берешь быка за рога — разборные домики, движки для освещения... Пустишь меня в свой чум переночевать?

— У нас теперь нет чумов,— твердо, со значимостью в тоне голоса поправил он меня и с достоинством дернул подбородком.— У нас теперь палатки. Есть летние палатки, есть зимние — те обтягиваем шкурами изнутри.

— Так возьмешь меня в тундру? — наседал я на него.

— Далеко, очень далеко отсюда до стойбища; олешки пристали шибко,— сомнительно покрутил он головой и скорбно причмокнул.— Большой ты шибко, тяжелый. Килограммов сто вешишь. Если б отдохнули олешки, покормились, тогда, может, и довели б нас двоих.— Он направился к печи, словно уходя от заданного мной вопроса, развел огонь, взял чайник, вышел из избы за водой и, вернувшись, поставил его греться. Держался он похозяйски уверенно, по всему было видно, что здесь, на тоне, он свой человек и бывал уже не раз. Все же в его словах не прозвучало явного отказа, не было в ответе твердости, несмотря на его прямодушие. Я понял, что он колеблется, и хоть жалеет своих олешков с какой-то крестьянской рачительностью, но в то же время не хочет обидеть меня. В сущности, наверное, ему было все равно, буду я о нем писать или нет, он не был честолюбив, тут важно было другое, то чувство неловкости за вынужденный отказ, которое тяготило бы его после нашего краткого знакомства.

— Пусть покормятся, отдохнут олешки,— говорил я, расхаживая по избе и краем глаза следя за выражением его лица.— Спешить нам некуда, тебе ведь надо еще сходить на тоню, посмотреть на тех утонувших оленей.

— Я уже был, видел,— махнул он рукой. Чуть повременив, он обернулся ко мне: — Чем кормиться олешкам? Здесь, у моря ягель не растет... Так, трава... Ягель там, в тундре, а им надо сил набраться.

— Да неужто так устали твои олешки?

— Выйди, сам посмотри,— кивнул он в сторону двери.

Я вышел из избы.

На траве метрах в двадцати от избы лежали выпраженные из нарт пять оленей. Рога их, обтянутые летом тонкой меховой кожицей,— моры — были какого-то странного кораллового цвета. Тучи комаров вились над

животными, облепляли морды, теснились на набрякших веках, но олени лежали с безучастным видом, терпя их с усталым спокойствием, как нечто само собой разумеющееся, чего никак не избежать, чему бесполезно противиться, и только изредка смаргивали, косили встревоженно в мою сторону голубыми зрачками в агатовой радужной оболочке огромных печальных глаз. Показавшийся мне издали странным цвет их рогов объяснялся набрякшими от крови, раздувшимися до алости комарами, которые глубоко впились в кожную пленку и рдели брюшками, как зерна граната, покрывая рога животных сплошным шевелящимся покровом.

Олени линяли, шкура их была неприглядно комкастая, вытертая местами до синеватых проплешин на шеях и боках. Прежде в моем представлении северные олени рисовались гордыми и сильными животными, а передо мной были покорные и доверчивые, как телята, создания ростом с пони, вызывающие сочувствие. Казалось, только прикрикни на них, и они поднимутся, несмотря на усталость, и тотчас тронутся снова в путь.

Рядом с упряжкой на траве лежали нарты, легкие, длинные, из тонких еловых планок, напоминающие каркас недостроенного летательного аппарата. Сработаны они были без единого гвоздя, скреплены в соединениях колышками, шпунтами.

— Да, — разочарованно протянул я, — столько был наслышан про выносливость ваших северных оленей... Неужели не довезут? Их пятеро, а нас двое.

— Может, довезут, а может и нет, — покачал ненец головой. — Может, станут на полпути, тогда придется тебе дальше пешком идти, заплутаешь чего доброго в тундре, а мне потом за тебя отвечать. Зимой приезжай, зимой другое дело, по снегу ехать легко, тогда и трое олешек потянут. А сейчас по траве да по камням какая ж езда. Тяжко тащить нарты, ремни олешкам грудь режут, шкура-то слабая, линяют.

Я закурил, глянул с сочувственным видом на оленей и отошел в сторону. Семен, так звали ненца, вернулся в избу. Уходя, он с порога позвал меня благодушным голосом. «Пойдем чай пить». Я отрешенно покачал головой и направился к берегу. Мне хотелось побыть одному, настроение у меня было подавленное, наплыла невесть с чего грусть. Рисовавшаяся в воображении картина поездки в тундру почему-то померкла, это была некая внутренняя защитная реакция, стремление утешить себя. Мысленно я говорил себе: «Экая невидаль — ненецкое стойбище, разбредшиеся по тундре олени, несколько чумов... ах, да, не чумы, а палатки... В сущности, что увижу я там захватывающего? Обычная кочевая жизнь, неприхотливая и проникнутая некоей первобытной простотой. Оленей я уже видел, с ненцем познакомился; по своему он чем-то интересен, но, в сущности, обычный пастух, рачительный хозяин. Стоит ли расстраиваться, что я не попаду в стойбище? Все, что мне не удалось увидеть, можно дорисовать в воображении. Завтра отправлюсь по побережью, через двадцать километров должен стоять маяк, приду к маячникам, поживу пару деньков у них...» Но в глубине души все же саднила какая-то неудовлетворенность, отголоски несбывшегося желанья, все еще зовущее туда, в глубь тундры, чувство. Я вдруг остро почувствовал свое неприкаянное одиночество и затерянность под равниной этого низко стелющегося, немеркнувшего, безотрадно холодного неба. Что-то заставило меня обернуться, то ли слабый звук хлопнувшей двери, то ли брошенный мне в спину взгляд. Я увидел шедшего вдоль берега Семена; он направлялся к месту, где лежали утонувшие олени. Двигался он какой-то комичной, кавалерийской походкой, но легко, быстро, точно ноги его сухонькой поджарой фигуры не вязли в песке. Темная юбка плескала по ногам, капюшон гладко облегал голову, из-под него клином торчала темная борода... Очевидно, он намеренно отправился пешком, с

целью показать мне, что не хочет лишний раз утруждать своих оленей.

Я побродил по берегу, вернулся в избу и завалился на нары. Охватившая меня грусть, как ни странно, сообщила моему духу некую внутреннюю упругость. Я думал о том, что это маленькое огорчение сегодняшнего дня, несбывшаяся моя надежда оттеснили и сделали незначительными все мои жизненные заботы и чаяния, отодвинули их на задний план. Впереди мне предстоял долгий путь и все его извивы сулили много неизвестного, и стоило ли огорчаться, если сегодня что-то сложилось иначе, чем того хотела моя воля.

В забытии, в приятной расслабленности долго лежал я и смотрел на закопченные бревна настила, предаваясь размышлениям, и чувствовал себя снова счастливым. От недавней грусти не осталось и следа.

10

За окном послышались голоса, дверь открылась, и в избу вошел Афиноген, а следом за ним Семен.

— Проснулся? — глянул в мою сторону Афиноген.— Значит, говоришь, странник? — улыбался он, подмигивая Семену.

— Странник, странник он,— кивал с лукавым видом Семен. Он прошелся кошачьей походкой по избе, женственно покачивая бедрами, сел на лавку и замурлыкал песенку. Настроение у него было благодушное. Он с безобидной насмешливостью поглядывал на меня, словно его и не заботило то, что придется отвечать за утонувших оленей.

— Что с оленями делать будешь? — спросил я Семена.

— А что? — вскинул он брови.— Ничего делать не буду, здесь останутся, в колхоз по рации сообщу, ветеринар приедет, акт составит.

— А отвечать кто же будет?

— Спишут,— махнул он лениво рукой.— Такое уж дело, что тут поделаешь. На то и предусмотрены на стадо три процента.

Мы поужинали оставшейся от обеда ухой, выкурили по сигарете. Я поднялся с лавки и стал собираться в дорогу.

— Куда дальше пойдешь? — спросил Семен и поглядел на меня с любопытством.

— Вдоль берега пойду. На восток, думаю, часа через два доберусь до маяка. Ты ведь не соглашаешься взять меня с собой.

Афиноген достал из-под нар пару болотников, порядком заношенных, но целых, без единой заплаты.

— Надень,— бросил он их к моим ногам.— Все лучше, чем в ботинках. Доберешься до деревни — в любой избе отдай, скажешь: Афиногеновы, мне после мужики передадут. Лапа у меня здоровая, тебе, должно, подойдет. На вот портянки подмотай, а то в носках натрешь ноги, — протянул он мне портянки. Только теперь я заметил, что ладони у него покрыты желтыми пятнами мозолей, крепких и отшлифованных до блеска.

— Значит, дальше в дорогу? — поднялся с лавки Семен.— Небось обиделся на меня? — Он теребил тесемки шлема и улыбался смущенно, почти виновато.— Ладно уж,— вздохнул он,— раз тебе так хочется к нам в тундру, возьму тебя с собой, только, паря, дорогой кой-где слазить будешь, бежать будешь, когда скажу. Трава-то не всюду есть, местами нарты плохо пойдут, подсобить придется олешкам.— Он направился к выходу, мягко ступая по полу с носков на пятки. Я взял рюкзак и направился следом за ним. Афиноген пошел проводить нас. Семен уже ладил упряжку, поднимал оленей, беззлобно покрикивал на них, цокал языком.

— Иди вон на тот угор,— дернул он головой в сторону небольшого возвышения метрах в трехстах от избы.— Жди там.

Что заставило их, случайно встретившихся на моем пути людей, отнестись ко мне с участием, одного: отдать свои сапоги, а другого потесниться на маленьких нартах? Желание показать гостеприимство и радушие северян? Так оба навряд ли были честолюбивы, и разве была для них какая-то корысть в том, что я буду после думать о них, какой след останется во мне от этой встречи? Нет, тут было другое чувство... Перед лицом природы все мы острее сознаем зависимость друг от друга. То же чувство заставляет охотника, уходящего с займки, где-нибудь в лесу оставить на полке четвертушку чаю, буханку хлеба, спички. Наколоть и положить у остывающей печи охапку поленьев. Неважно, кто после тебя придет в эту избушку и обогрется наколотыми поленьями. Тот, кто придет, тоже, уходя, наколет дров, зальет огонь в печи, и это маленькое реальное воплощение доброты связывает людей больше всяких высоких слов. На роستانях, в тундре или на пустынном побережье люди пристальнее чувствуют зависимость от них ближнего, и нет ничего удивительного в том, что путника пустят на ночлег, накормят в каждой избе, чуме или палатке...

11

И вот, распростившись с Афиногеном, я стою на угоре, а кругом звенят, точно колеблемая ветром густая металлическая паутина, тучи комаров. Гляжу сквозь эту живую завесу на густо-лиловую, тронутую гляncем равнину моря, на мягкие, бархатистые контуры берега в свете закатного неба, окрашенного в неровные тона. Воздух над морем переливается стеклянными голубоватыми струями, искажая и причудливо ломая горизонт. Тороплю нетерпеливыми взглядами Семена, и вот, наконец, упряжка тронулась, мягкими тупыми ударами бьют в землю олени копыта, с жалобным шелестом никнут под полозьями влажные травы.

— Хоп,— поравнявшись со мной, скомандовал Се-

мен. Я припустился наравне с нартами, приноравливаясь к их скорости, прыгнул, повалился боком на посланную шкуру. Толчок, и вот я еду. Только слышен свист полозьев в пронзительной тишине, чавкают, проваливаясь в пересмякшую почву, оленьи копыта, угрожающе покачивается, изредка опускается на вздрагивающие спины, на ветвистые рога длинный еловый хорей.

— Кысса, кысса,— издает Семен низкий угрожающий возглас, ощеривая рот, и олени бегут еще шибче, мчимся под уклон. Высокая, до пояса осока набегаёт волнами на нарты из-под оленьих копыт, плещет с боков, тотчас смыкаясь за нами упругой стеной буйного травостоя, в котором едва угадать уже след полозьев. Место низкое, сплошная череда уютных озерин, откуда то и дело поднимаются одиночные утки. Ближе к пологим склонам ложбины тянутся мочаги с мокрыми заливыми лугами, с остудным парным дыханием загустевшего от влаги воздуха, который клубится от множества роящихся комаров. Кажется, можно схватить их пригоршнями, они секут по лицу, втягиваются с дыханием в ноздри, в рот, точно неотъемлемые частички воздуха.

Наконец низина кончается, упряжка выскакивает на угор с разбросанными огромными серо-зелеными от мха валунами, напоминающими древние внушительные надгробья. Под реденькой травкой слышен дерущий ползья каменистый грунт.

— Спрыгивай! — зыкнул Семен, обернувшись ко мне и блеснул глазами с хмельным весельем. Я спрыгнул, побежал, лавируя среди тягослого, хватавшего за отвороты бродней кустарника, бряцая гремевшими в кармане ключами от московской квартиры, мелочью, складным ножом. Упряжка облегченно дернулась вперед, нарты вихляли, кренились набок, ползья жалобно драли по камням. Под уклон нарты пошли мягче, быстрее, отрываясь, убегая далеко вперед. Мне пришлось наддать ходу, я неся, высоко задирая ноги, чтобы не задеть за

часто выступавшие из травы камни. Бежавшая впереди, чуть справа от меня лайка Семена подняла из кустарника стайку куропаток, они с треском взметнулись и, блеснув крыльями на солнце, потянули к зарослям вереска. Горизонт прыгал перед моими глазами, сбившееся было дыхание выравнивалось, я слегка взопрел, но сердце уже мерно тукало в груди. Я стал принаравливаться и, казалось, мог теперь бежать долго. Во всей этой гонке было что-то захватывающее, в крови закипал азарт.

— Хоп! — скомандовал не оборачиваясь Семен. Я сделал несколько длинных скачков, настиг нарты и прыгнул, но едва не промахнулся, уцепился руками за перекладину, лег ничком, подтянул правую ногу, волочившуюся по земле. Подо мной, сливаясь в сплошную бурозеленую ленту, с шуршанием стлалась трава, ударяя в лицо дыханием, прохваченным запахом торфа и мошки.

— Ноги-то не свешивай, — предостерег меня Семен, — о камень заденешь на ходу — враз сломаешь. Боком сядь, ноги, как я, держи.

Он ловко держался на самом краю нарт, помахивал хореом, подергивал упряжь. Маленький, сухонький, коротконогий, тело его даже не вскидывало от толчков о кочки, я же не знал, как уместить свои длинные мослы в подвернутых до колен броднях, и то садился, вытягивая ноги назад, то ложился ничком, то поворачивался боком, подбирая колени к самому подбородку, меня мотало из стороны в сторону, планки настила отдавались на каждой рытвине, на каждом бугорке, тело саднило. Хотелось узнать у Семена название трав, расспросить его о многом, что будило мое любопытство в пути, но невольно приходилось хранить молчание, чтобы не прикусить язык. Местность была неровная, нарты вихляли, то и дело мы пересекали русла пересохших ручьев со вздувшейся затвердевшей комами почвой.

Упряжка с ходу влетела на россыпь мелких камней,

понеслась под уклон. Семен легко соскочил, побежал рядом, прикрикнул на вожака, направляя его вправо, в просвет между частым ерником. Я, следуя его примеру, тоже соскочил, пустые нарты подпрыгивали, набегали на ноги оленей, копыта били в передок, вожак косил назад окровавленным зрачком.

— Придерживай,— крикнул Семен и указал взглядом на волочившуюся за нартами короткую веревку, назначение которой только теперь мне стало понятно. Я поймал в траве конец; рывок — и кажется, земля стала ускользать из-под ног. Я упирался, пытаюсь удержать нарты, скользил на пятках, и ощущение было такое, словно я мчусь на водных лыжах. Мы, не снижая скорости, спускались по склону распадка, впереди сплошной стеной стояла роща приземистых, судорожно спецившихся ветвями, застывших в испуге, в тягостном напряжении карликовых березок, и при одном предчувствии, что мы сейчас врежемся с ходу в нее, искалечим животных и пострадаем сами, я невольно втянул голову в плечи, метнул в сторону Семена тревожно-вопрошающий взгляд. Он прыгнул, мягко шмякнулся на передок нарт, направил их в узкий, только теперь открывшийся моим глазам просвет. Возмущенно зашуршали листья, глухо треснула рядом ветка. Упряжка вылетела к крохотной речушке, мелководной и светлой, с переливчатым мелодичным звоном от выступавших на вершок из воды камней, за которыми тянулись длинные льняные пряди водорослей, то оплетаемых, то расплетаемых мерными струями.

— Хоп! — обернулся Семен. Я едва успел упасть на нарты. Олени прыгнули, меня обдало фейерверком обжигающе студеных брызг, и мы с ходу вылетели вверх по склону. Я хохотал как обезумевший, испуг сломался, восторг от бешеной гонки колотился в висках. Я невольно возвысился в собственных глазах, вид у меня, надо полагать, был идиотски счастливый. Семен озадаченно

тарачил на меня глаза, потом усмехнулся, остановил упряжку и полез в карман за сигаретами.

— А ты приткий,— лукаво щурил он глаза,— думал — журналист, за столом сидеть привык, намучаюсь с тобой в дороге, а ты ничего, бегаешь как охотник.

— Волка ноги кормят, привык бегать по редакциям.

— Зачем бегать, кого ловишь там? — вскинул он брови.

— Дело это тонкое, в двух словах не объяснишь, нужно время от времени напоминать редакторам об оставленных у них рукописях, нужно не давать им по себе соскучиться.

— Понимаю. Это вроде как я: бегаю зимой по тундре, расставляю капканы, потом снова бегаю, проверяю, не попался ли кто,— засмеялся он.— Бросай свою писанину, оставайся у нас,— без толку бегать не придется, вместе капканы ставить будем, не бумажные — железные. Глядишь — песец или лиса попадет. Дело верное.

Солнце давно отсверкало, какое-то поблекшее, оно светит устало, стоит в раздумье низко, над горизонтом слева от нас, точно отражение выплывшей справа огромной медно-рыжей луны, удивительно близкой, с четко различаемыми контурами морей и впадин, словно наглядное географическое пособие, в которое можно ткнуть указкой.

Мы снова тронулись в путь, нарты мягко плывут по заболоченной равнине. Впереди невысокий холм, на макушке два валуна и воткнутый в землю шест.

— Матери могила,— кивнул в сторону холма Семен.— Давно приглянулся ей этот холм; как умру, говорила, здесь меня положите, рядом с вами буду, все видеть отсюда буду, все слышать. Мы и похоронили, как велела. Место высокое, сухое. Валуны я уж после двумя упряжками привез. Теперь зовется «Ольгин холм» — Ольгой мать звали. У нас, к примеру, так говорят: убил волка в двух верстах на восток от Ольгина холма. Есть

Никифора холм, есть Сенькин холм. Придет время мне помирать — и себе холм присмотрю. Всю жизнь прожил в тундре, умирать тоже в тундре надо... Олешки рядом пасутся, ненцы кочуют... Не хочу на кладбище, чужие люди ходят возле могил, тесно...

В одинокой могиле старухи, покоящейся на вершине холма, есть что-то возвышенно поэтическое, трогательное, какая-то преданность этому суровому простору. Валуны вместо надгробия, воткнутый в землю шест — от всего этого веет чем-то исконно древним, языческим, могила эта никогда не сотрется с лица земли, не затеряется в обычной кладбищенской тесноте; теперь она служит своего рода ориентиром в безликой пустыне и может быть со временем будет нанесена на карту, она словно приобщилась к вечности. Отжил человек, а память о нем приносит людям пользу; кажется, где-то рядом незримо присутствует добрая молчаливая душа, стережет эту строгую тишину, прислушивается, наблюдает за нами.

Тихо. Высоко в небе парит орел. Завидев его, умолкли золотистые ржанки, затаились в траве, стих томительный их крик, наводящий тоску.

Все чаще попадаются на нашем пути крупные озера, отороченные по краям бахромой невысокой ядовито-зеленой осоки. Чуть подернутая рябью гладь жирно черна. Редко, редко заметишь под берегом сиротливо чернеющую стайку уток.

Семен придержал упряжку, чуть подался вперед, напряженно всматриваясь во что-то там, вдали, приложил ко рту ладонь и издал неожиданно высокий гортанный крик. В резком крике его было столько силы и первоизданной волнующей дикости, что я вздрогнул, с тревогой уставился в лицо Семена. Расстилавшаяся перед нами равнина была абсолютно безлюдна, не угадывалось ни малейшего намека на какое-либо движение. Крик тотчас замер, не породив даже эха, не в силах разогнать усто-

явшуюся тишину, которая, казалось, сомкнулась еще плотнее. Лайка чутко топорщила уши, нюхала воздух, с выжидающей готовностью смотрела на хозяина, а он все медлил, ждал какого-то ответа, глаза его были многозначительно сужены, мелкое лицо пристально, остро выступающие на нем скулы обозначились еще резче. И вот вдаль, в безмерности стелющегося над землей тумана, родился слабый ответный звук, вязнувший в сыром воздухе, невнятное, зыбкое «О-у-а-а...».

Семен удовлетворенно кивнул головой, прицокнул языком и, точно воодушевившись этим ответом, прикрикнул на оленей, снова пустил вперед упряжку, наяривая хореом вожака. Завидев перед собой мочажину, вожак взял было круто влево, но Семен подернул упряжь, ударил его хореом в левый бок, нарты влетели в топкое место, но, к моему удивлению, мы не завязли, не провалились в болотную жижу, нарты скользили на вершок в воде и вскоре выскочили на относительно сухой кочкарник.

— Кому ты кричал? — спросил я Семена.

— Разве не видишь? — с удивлением посмотрел он на меня и простер руку, указывая вперед.— Наши гонят отбившихся от стада оленей. Петра это, брат мой с племянником Алешкой.

— А-у-о-у,— уже явственнее долетело из тундры. Семен чуть привстал на нартах и издал ответный возглас. Вскоре я различил впереди, чуть справа, несколько движущихся точек, они то исчезали в ложбинах, то появлялись вновь, расстояние между нами быстро сокращалось.

Одна упряжка остановилась поодаль, человек прикрикнул на собак, носившихся вокруг трех заарканенных оленей, один из которых, сивый от старости самец, пригибал голову, угрожающе выставлял перед лайками рога. Вторая упряжка направилась к нам, пожилой ненец круто осадил оленей, оглядел меня со сдержанным любопытством, перекинул ноги через привязанную к

нартам трехлинейку со щербатым прикладом, потянулся, разминая затекшие члены, косо улыбнулся, пошевелил взлохмаченными бровями и вопросительно кивнул Семену, дескать, кого привез? Голову он держал высоко, чуть приопущенные веки выдавали надменность, узкие глаза блестели холодно и смело, весь вид обличал в нем человека, искушенного в жизни, которого ничто уже не в силах удивить. Было тихо, и только слышалось, как уробно рехали олени, глухо покашливали, окуная ноздри в прохладный, мерцавший бисером росы мох.

— Вот, гостя к нам везу,— с мягкой усмешкой, с игривостью в тоне голоса сказал Семен.— Думаю у себя его оставить, думаю, олешков пасти со мной будет. На тоню к Афиногену пешком пришел, бегаёт шибко, помогла мне дорогой. Пускай поживет у нас, потом мы в гости к нему поедем.

— И то ладно,— со снисходительным благодушием кивнул Петра и тотчас, утратив ко мне всякий интерес, стал расспрашивать Семена об утонувших оленях; говорили они недолго, выкурили по сигарете, и мы снова тронулись в путь.

— Эвон наши зимние палатки,— указал рукой Семен на несколько тюков у подножия невысокого холма.— Как дело к зиме повернет, приедем, бросим здесь летние, а эти возьмем.

Тут же у тюков стояли три железные печки, темнели в траве бурые колена труб, лежала гора хвороста, припасенного впрок. Семен равнодушно скользнул взглядом по оставленному под открытым небом домашнему скарбу, словно нисколько не сомневался, что найдет его здесь и через полгода в полной целостности и сохранности. Я понял, что для ненцев в этом необъятном просторе все объединено простым понятием их дом, и как человек, проснувшийся среди ночи в своей квартире, без опасения двигается в темноте, так они даже в полярную ночь передвигаются здесь без компаса. Представлявшие-

еся мне однообразие тундры имеет в их глазах четко выраженное лицо, и, наверное, каждое из сотен озер имеет свое название, каждая ложина, каждая рощица карликовых березок связаны в памяти с каким-нибудь событием охоты или былой стоянкой. В их воображении тундра рисуется чем-то цельным, каждое место наделено своим значением: пастбища, охотничьи и рыбные угодья, холмы-могилы, возвышения, выполняющие роль кладовых, где под открытым небом хранится скарб до поры, когда понадобится вновь...

12

В палатках еще не спали. Над ними курился, истончаясь в остудном ночном воздухе, дым, опадали гаснущие, кружившие мухами искры. Легким порывом ветра донесло уже размытую в волглom воздухе дымную струю, и от принесенного ею чуть горьковатого пряного запаха березы остро потянуло к человеческому жилью, захотелось укрыться, наконец, от немилосердно досаждавших комаров, ступить под полог, сесть у печурки, разуться, выпить кружку обжигающего сизого с дымком чаю.

Нас встретил залиvistый лай собак, они кинулись нам навстречу, виляя хвостами, повизгивая от радости, заискивая. Из-под полога крайней палатки выглянуло смуглое темнобровое женское лицо, и, прежде чем оно скрылось назад, я успел заметить радостное выражение, сдержанное и озабоченное радение хозяйки, верно, заторопившейся разогревать ужин, пока мужчины будут распрягать оленей, сворачивать ендины и выкуривать по последней сигарете, поглядывая на небо и перекидываясь скупыми словами, прежде чем расстаться до завтрашнего дня.

— Пойдем в мою палатку ужинать,— сказал, обращаясь ко мне, Петра.— Сегодня у моего младшего день рождения. Пять лет! — Темное костистое лицо Петры

тронула радушная улыбка, он жестом указал мне на палатку, терпеливо ждал, пока я отвяжу прихваченный к нартам веревкой рюкзак. Семен куда-то исчез. Присутствие его все же как-то ободряло, дорога нас сблизила, и теперь отсутствие его я расценивал чуть ли не как предательство, было неловко, что окажусь один среди незнакомых людей на семейном торжестве. Но неожиданно он вынырнул из-за соседней палатки, прикрикнул на собаку: «Пын!» (пошла прочь) и направился к нам.

В палатке стоял крепкий пряный запах, исходивший от березовой пакулы, вяло чадившей на краю железной печки — старое испытанное средство от комаров. На меня с любопытством смотрели три пары детских глаз, две молодые женщины стыдливо потупились, пожилая nenka, Калиста, жена Петры, протянула мне короткие липты, предложив переобуться. Мужчины неторопливо стягивали через головы летние малицы, называвшиеся худниками.

Пол был устлан чистыми оленьими шкурами; сквозь верх палатки, прожженный летевшими из прохудившегося колена дымника искрами, смотрело светлое небо, наполняя палатку призрачным светом. На приземистом походном столе дымилась миска с олениной, стояла огромная сковородка с жареной пелядью, тарелка с моченой морошкой, крупно нарезанный домашней выпечки хлеб...

— А где же именинник? — спросил я.

— Да вот он, наш именинник, Яшка,— ласково потрепал Петра по смоляным вихрам мальчика, который стоял, уверенно расставив ноги, и в упор разглядывал меня.— Подойди к дяде, поздоровайся,— подтолкнул его ко мне Петра, но тот ловко выскользнул из-под руки, отбежал в глубь палатки, заблестел глазами.

— Да что боишься-то, ведь не увезет он тебя...

— Меня нельзя увозить, мамка будет плакать,— предостерег меня именинник: все засмеялись, и он сам

расплылся в улыбке, подошел и хлопнул ладонью по голенищу моего сапога. Все сели за стол, мы выпили за здоровье именинника, потом Семен провозгласил тост в честь меня, как гостя, и заявил, что ночевать уведет в свою палатку. Я в свою очередь предложил поднять стаканы в честь ненецких женщин, приготовивших этот отменный ужин, терпеливых и мужественных подруг кочевников, не утративших обаяния и нежной матовости смуглых щек в этом царстве сырости и комаров. Ненки прыснули от смеха; мое собственное лицо распухло от укусов и набрякшие щеки подпирали нижние веки, оставляя узкие щелочки мучительно обузившихся глаз.

— Почто мало ешь-то? — все подкладывала мне на тарелку угощение Калиста. — Рыба-то свежа, не брожена. Такой крупный мужчина, а ешь, как мой Яшка. Семен тебе до плеча, а эвон кака рядом с ним уже гора костей. Хоть как ни старайся, Семен, а все одно теперь уже таким, как он, не вырастешь.

— А я не для росту,— ослабился Семен,— для весу, чтоб зимой с нарт не сдуло. Как говорится,— продолжал он,— по работе и едок. Ежели б я, к примеру, пером с утра до вечера водил и только — может, и мне б хватило на ужин рыбьего хвостика... А я на ветру да на холоде...

— Трудно ли пасти оленей? — спросил я.

Ненцы, казалось, были озадачены моим вопросом. Петра, пожевав губами, очевидно, соображая, как бы поделикатнее объяснить, сказал:

— Да кто ж его знает, трудно оно или нет? Пасем и пасем. Дело привычное, а трудное ли оно — не думали, не знаем. Ты вот большой, тяжелый, а когда ходишь, разве думаешь, сколько вешишь?

— У нас, — сказала Калиста, — кто к тундре привык — олешков пасет, а из молодых многие в деревне оседло живут, кто рыбу на тонях ловит, кто на молочно-товарной ферме работает. Думаю, когда внуки мои вы-

растут, не в тундре, в деревне станут жить. Пять дочек у меня, три в техникуме учатся, в Архангельске, их уже сюда не заманишь, две другие — одна в восьмом, другая в седьмом классе — тоже учиться дальше нацелились. Вот и попробуй жени парня, если он пасет оленей да живет в палатке. У нас оленеводу шибко тяжело найти невесту, ни одна девка из деревни идти за него не хочет, берут хоть вдовую, у которой детей трое...

— Выходит, в деревне лучше жить?

— Лучше-то лучше,— ответил Семен,— да все как смотреть. Конечно, там и клуб, и танцы, и магазины всегда рядом, да не всякому человеку весело жить в густоте, не всякий умеет приноровиться к чужому характеру. Здесь мне никто не указчик, здесь я сам себе хозяин, если не считать, конечно, Петры,— подмигнул он.— Петра у нас бригадир. И потом рыбалка, охота, кругом ведь раздолье... Нет, Калиста,— обратился он к ней с лукаво обузившимися глазами,— думаю, и внуки наши будут еще олешек пасти. Может, не на нартах ездить будут — на вертолетах: прилетят, перегонят стадо на другое место,— переночуют и назад в деревню, или к другому стаду полетят... Разве могла бы ты навсегда уйти из тундры, могла б ее забыть?..

— Ну я! Я почти старуха, всю жизнь прожила... А дочки мои, я в точности знаю, не станут здесь жить... И по семь, восемь детей, как я и сестры мои рожали, рожать не станут, не станут себя уродовать.

— Да кто тебя и не заставлял десятерых рожать, — засмеялся Петра, — родила б мне сразу сыновей, а то поперву все дочки и дочки — пятерых родила. А я думаю — нет, добыюсь своего, должен быть сын обязательно. Я человек упорный... Мы все Вылко такие...

Я завел разговор о легендарном Тыко Вылко, родившемся в конце прошлого века на Новой Земле, и спросил, не родственник ли он им.

— Может, и сродственник,— с задумчивым видом от-

ветил Петра.— Меня еще мальчиком увезли с Новой Земли, Семен уж здесь родился; отец рано помер, шел мне тогда пятнадцатый год. А о Тыко Вылко я уж потом услышал, был как-то в Архангельске, на выставку картин его зашел. Потом дневник увидел в Краеведческом музее. Попросил — достали из-под стекла, в комнату усадили за стол. Часа три читал, как он жил и охотился там на острове, карту составлял для географического общества, за которую потом медаль золотую дали. Всю жизнь вел дневник человек, для себя вел, не надеялся, что дневник тот будет храниться в музее. После, уж когда он президентом острова стал, часто писали о нем в газетах, только что удивительно — где назовут Тыка Вылка, где Тыко Вылко... Осталось еще Тыкай Вилкой называть. А правильно будет Тыко — это значит олешек маленький, а взрослый олень — ты. Окромя нас здесь ненцев с фамилией Вылко больше нет, и на Канином Носу нет. Говорят, на острове Вайгач есть еще такая фамилия, вроде сын Тыко Вылки там живет с семьей, да только мы никогда не виделись. Кто его знает, может, сродственники, а может, и просто однофамильцы.

В словах его я не уловил честолюбивой нотки, и хотя он отдавал дань почтения именитому ненцу, вошедшему в историю этого края, но не старался подчеркнуть возможность династической связи, тень чьей-то славы не подкупала его.

Под верхом палатки я заметил подвешенные на бечевочке две когтистые птичьи лапы с густой белой махной на обрубленных голеньях..

— Зачем это? Талисман? — поинтересовался я.

— Да так, пустое,— ухмыльнулся Петра.— Орла Алешка убил, так я засушил лапы. Как поеду в колхоз по делам — бухгалтеру покажу, покажу, кто телят из стада уносит. Летом-то орел редко на олешков нападет, летом ему в тундре раздолье — птица да рыба на озерах, гусь линяет... А зимой волки да орлы так и норо-

вят возле стада поживиться, зимой нужен глаз да глаз. Хотя от него, от орла, опять же польза. Орлы да гагары рыбу в мертвые озера заносят. Несут птенцам рыбу, глядишь, упустят ненароком, падает рыба в озеро, там и живет, плодится...

Ветер семена разносит, птица — рыбу, человек — добрую весть. Так старики говорили прежде.

— Петра, а сколько же оленей в колхозном стаде?

— Пятнадцать с половиной тысяч голов. Стадо небольшое, так ведь и нас мало, пятеро всего пастухов. Справляемся. Всего в Малоземельной тундре раз в десять больше, двенадцать миллионов гектаров пастбищ.

— Почти четыре Италии,— присвистнул я.— Раздолье для оленей!

— Так еще мало для наших оленеводов,— покачал головой Петра.— Для нормального выпаса одного оленка надо на год десять квадратных километров пастбищ. Ягель растет медленно, а окромя ягеля только ерник олень ест, тот, правда, побыстрее растет. Думаешь, мы пасем где придется? Вся тундра разбита на районы, у каждой оленеводческой бригады карта, где обозначен ее участок. По одному идем от лесов к морю, короткое лето проводим неподалеку от берега, здесь гнус меньше мучает, а к зиме поворачиваем назад. Поголовье стад уже нельзя увеличивать, иначе пастбищ не хватит. Беречь тундру надо, зря не ездить тракторами. Там, где гусеницы прошли, ягель уже не растет, голая земля. А голая земля высыхает быстрее да выветривается. Пустыня будет тогда.

— А сколько у вас собственных оленей?

— У какой семьи сто пятьдесят, у какой и триста. Осенью забиваем старых самцов, мясо в колхоз сдаем, шкуры сдаем. Я нынешний год заказал «Буран» через посылторг, пятнадцать оленшков забивать буду, деньги надо. Можно бы и со сберкнижки снять, да жена не соглашается. Книжку жалко, а оленшков не жалко ей,— улыбаясь, качает головой Петра.

Где-то в тундре рождается слабый звук, высокий, переливчатый, рассыпающийся мелким дрожанием. Но он все крепнет, вливаются новые и новые голоса, все гуще набегают высокие дробные ноты, пока, наконец, эта многоголосица не сливается в сплошной поток, какой-то звенящий ливень трелей.

— Что это? — с недоумением вслушиваюсь я.

— Дак лягуши,— охотно поясняет Калиста.— Ишь как яровито принялись.

— Иной раз как заведутся с полуночи — и до самого уж утра, — заметил Семен, — К теплу значит. День завтра будет отходчивый.

Местные лягушки кричат совершенно по-особенному, голоса их звучат с какой-то яростной тоской, и точно слышишь в них стелящую жалобу на быстротечное лето. Странен этот крик в тишине короткой и прозрачной белой ночи.

Дрова в печи давно прогорели. Потрескивает, остывая, труба. Именинник Яшка крепко спит, свернувшись калачиком на вытертой оленьей шкуре, и изредка глубоко вздыхает во сне: наверное, снится ему, как летит он на упряжке по тундре...

Ночевать Семен ведет меня в свою палатку. На полу уже расставлены войлочные маты, поверх — шкуры, одеяла. Над ложем натянут конусом ситцевый полог от комаров. К утру, когда выветрится запах пакулы, их набьется в палатку через щели тысячи. Мне отводят место с краю, поближе к печке. Ложусь, скинув с себя верхнюю одежду, и только теперь, расслабив тело, ощущаю с особенной отчетливостью, как ноют бока, поясница от тряской езды на нартах по кочкарнику, сотни клеточек тела изливают тупым ноющим покалыванием жалобы, заглушают дремотные мысли.

Слева от меня спит все Семеново семейство: он сам, жена, четыре дочери, три сына... Старший сын Василий с женой и двухгодовалой дочкой, которая спит в под-

вешенной на капроновых веревках зыбке,— под другим пологом у противоположного края палатки.

Семен тотчас засыпает, его мажорный храп перекрывает лягушачьи трели, но вот где-то неподалеку глухо зарычала собака, с ней сцепилась со злобным коротким хрипом другая... Жалобный визг, и снова тишина... Семен проснулся, открыл глаза, настороженно прислушивается.

— Почто не спишь, парень? Спи. Ночь белая, а все одно спать надо.

— Да не спится что-то.

— Завтра стадо отгонять, мое дежурство,— вздохнул он и подтянул сползшее одеяло к подбородку.— Ну, до завтра,— он повернулся на бок и снова залился здоровым храпом.

13

— Э, слышь-ко, странничек,— тряс меня утром за плечо Семен.— Вставай чай пить. Алешка собирается на озеро ехать рюжи смотреть. Подсобишь ли?

— Как не подсобить,— поднялся я.

— Алешке двадцать три года, ростом он на голову выше Семена, но узок в плечах, по-девичьи хрупок, задумчив, мечтателен. На губах какая-то благодная улыбка; по лицу, в лучиках чуть прищуренных глаз разлита кроткая миротворность, и кажется, о чем ни попроси Алешку, он ни в чем не откажет, огорчить другого для него сушая мука.

Мы выходим с Алешкой из палатки на вольный воздух, исподволь люблюсь его тонко вылепленным лицом с огромными раскосыми глазами, длинными девичьими ресницами. Он возится с собаками, приговаривает ласковым голосом, окуная пальцы в их густую блестящую шерсть. У него вид человека, который живет сегодняшним днем, точно этот день последний в его жизни и нужно сделать, запомнить как можно больше, всех обласкать,

каждому уделить доброе слово, и все это с чувством, без суеты, со спокойной внутренней сосредоточенностью.

Поправляя ендины, разбирая вожжи, оглаживая оленей, он что-то говорит, обращаясь к животным, олени прядут ушами, косят доверчиво в его сторону своими огромными голубоватыми, точно перезрелые сливы, глазами с какой-то выжидающей готовностью.

Сколько ни пытался отец, работающий трактористом в колхозе, пристрастить Алешку к технике, но дальше освоения механизма «Бурана», на котором носится Алешка зимой по тундре, проверяя расставленные на песца капканы, дело не пошло. С детства тянуло в тундру, томилась Алешкина душа в деревне, соблазнял простор, где можно закатиться на какое-нибудь глухое озеро порыбачить или скрасть стаю уток.

Когда едет Алешка на оленях тундрой, зеленеющей мхами да травами, обязательно поет. Поет тягучим грудным, неожиданно низким для его тщедушного вида голосом. Песни его незатейливы, нескончаемы, песни без слов. Да и что слова, не слова в песне главное, важно настроение, чувство, которое рождает желание петь и ведет песню. А язык мелодии всем понятен, даже олешкам. Когда Алешка поет, олени шибче бегут, веселей бегут. Песни Алешкины подбадривают оленей лучше любого хоря.

Мальчишкой ставил капканы в нескольких километрах за деревней, сдавал в колхоз песцов и лис, собрал деньги, отец купил ружье. Во время каникул уходил из деревни в тундру, помогал дядьям пасти олешков, а в семнадцать, после окончания десятилетки, стал полноправным членом оленеводческой бригады. Теперь у него в стане своя палатка, на нем семья — жена и двое детей. Правда, дети не его, женился он на молодой вдове, у которой муж-рыбак погиб на Канином Носу в путину. Женился Алешка в один день, влюбился, как говорится, с первого взгляда, приехав в Сояны в марте прошлого

года на отчетно-выборное собрание оленеводов. Раз в год ранней весной собрание, съезжаются ненцы со всего побережья Белого моря. Тут на собрании и с родственниками свидишься, тут тебе и смотрины, и сватовство, и гонки на оленях, всякие игры. За неделю, пока идет собрание, сколько холостых парней надумывает жениться, сколько сердец растревожат жаркие взгляды, сколько судеб решится в считанные дни...

— Я так думаю,— откровенничал дорогой на озеро Алешка,— понравилась девушка — жениться надо. Когда мне кавалериться за ней? Три месяца встречаться будем, а все одно не узнаешь по-настоящему, пока не женишься. А баловства да озорства с девками я не люблю. Раз поехал я в Архангельск по делам, встретил наших деревенских парней, что плавают в траловом флоте. Посидели в ресторане. Выходим. Айда, говорят, к девчонкам. Поехали на какую-то квартиру, вина взяли с собой. Один дружок и шепчет мне: «Ты эту звонкую, рыжую, бери, баба — туши свет. И не надо никаких ля-ля». Я хоть и пьяный был, а соображение не теряю. Как спать с ней буду, если чужая она мне, не хочу иметь от нее детей? Ушел на вокзал ночевать. Те после смеялись.

Впереди и чуть справа от нас в распадке уже виднеется озеро, где поставлены Алешкины рюжи. Слева заросли вереска, тугие черные ягоды как смоляные капли облепили игольчатые веточки. День солнечный, ветренный, комары не донимают нас. Настроение приподнятое, вчерашнюю усталость сняло как рукой, и я жажду каких-то свершений.

— А зачем ты, Алексей, кончал десятилетку, если с детства решил стать пастухом? — спросил я.

— На ветеринара учиться хочу.

— Почему же до сих пор не пошел?

— Прежде рано было, самому кое-что надо было узнать, прежде чем учиться идти. Теперь женился, через три месяца жена рожать будет. На следующий год за-

очно пойду. Я время даром не теряю, учебники есть, понемногу учусь. Опыты ставлю.

— Какие опыты? — удивился я.

— Искусственного осеменения оленей. У нас в стаде четыре шибко крупных быка, три белых, один муругий. Другие быки тоже многих важенок покрывают, даже слабые некоторых покрывают. Те четыре не успевают всех важенок покрыть, важенок около трех тысяч. А если искусственно осеменить — материала на многих хватит. У меня десять важенок подопытных, все десять в этом году принесли хороших телят. Три теленка — хорка совсем белые, а телята-важеночки пегие.

— Хорка — это самец?

— Самец, самец. Сперва теленок хорка, потом лончак, до двух лет лончак, потом уже бык.

— А самки?

— Сперва теленочек-важеночка, на два года уже сырица, потом важенка, в сентябре можно случать...

— А как ты определяешь, какого быка можно пустить в упряжке передовым?

— Дак косточка такая на рогах есть. Если отросток идет от ствола до самого глаза — значит, бык хорошо пойдет передовым, слушаться будет.

— А почему слушаться будет?

— Дак потому косточка эта... К вожже против глаз ежели деревяшечку привязать, дак и потянешь — тереться об отросток будет, мешать глядеть, вот он и поворачивает. А вожак поворотит — за ним и все остальные.

Подъезжаем к озеру. Вода прозрачная, студеная. Дно круто убегает в призывно колеблющуюся водорослями глубину. Маленькая лодочка, выдолбленная из бревна, вздрагивает при каждом ударе короткого весла. Алешка гребет, стоя на одном колене, как на каное. По временам он бросает грести и, точно отягощенный какой-то тревогой, вслушивается в затопившую все кругом тишину, высоко задирает голову и, чуть склонив ее набок

от бьющего в глаза солнца, поглядывает на небо, чертя по воде расступающуюся с журчанием под веслом борозду.

Достаем рюжу. В ней с десяток щук, несколько крупных, увесистых, точно слитки олова, сигов, крупные окуни, пелядь...

Богатый улов, впрочем, не вызывает у Алешки особого восторга, для него это обычный повседневный труд, не обременительный, но требующий определенной сноровки. Скорее радуется ему не улов, а выдавшийся сегодня солнечный день, и едва мы заканчиваем осматривать последнюю рюжу, он затягивает песню, в которой явно угадывается настроение, лицо его так и светится какой-то кроткой радостью.

14

Солнце медленно движется над тундрой с востока на запад, достигнет горизонта, устало обопрется о кромку земли, чуть надломит ее своей тяжестью, чуть скроется и, словно раздумав покинуть небосклон, отдохнув, остудив жар в прохладных мхах и травах, снова неторопливо взбирается по уступам облаков.

Тундра огромна, тундра кажется бесконечной, в ней легко заблудиться, пропасть, но все же, сколько бы ни бродил, ни плутал по ней путник, всегда будет в его душе надежда встретить людей, и выйдет ли он к побережью, где на редких тонях сидят рыбаки, или встретит ненцев, всюду он будет желанным гостем, всюду впустят его в дом или палатку, и накормят, оставят переночевать, и, расставаясь с этими людьми, всегда испытываешь сожаление и оборачиваешься, машешь им рукой, а они машут тебе в ответ издали, стоят на холме, глядят вслед, и далеко слышен растекающийся по тундре прощальный оклик: «Попадай опять! Не забывай нас!» И сердце сильнее стучит в груди, и невольно уторапливаешь шаг, успокаиваешь себя мыслью, что, может быть,

через год, через два снова вернешься сюда и снова встретишься с ними, потому что в душе твоей пролегли какие-то новые связи, которые не хочется терять, благодаря им мир словно раздвинулся, стал чуточку больше.

15

Какая-нибудь сотня километров вдоль берега моря, в сущности, пустяк; если смотреть на карту — промежуток между двух, лежащих по соседству приморских деревень, но сколь долгод из-за бездорожья путь по суше и как заметна разница в жизни, как меняется характер промысла.

Если идти от Воронова маяка дальше на восток, на побережье уже не встретишь тоней; редкие деревушки, расположенные у моря, вид имеют заброшенный и унылый, живут в них одни старухи да старики, свыкшиеся с местами дорогими и привычными; здесь, на погостах с иструхшими деревянными крестами, лежат их деды и прадеды, осваивавшие этот суровый край. В деревнях покрупнее, где много жителей, налажено хозяйство и держится молодежь — в отдалении от моря, на берегах рек, где в верховьях есть уже и лесок, где климат заметно теплее, нет частых ураганных ветров и не так высоко затопляет пойменные луга в часы приливов.

Я шел вдоль побережья весь день и всю ночь, перебирался через быстрые мелководные речушки со студеной водой, разжигал костры из плавника, сушил одежду, готовил нехитрый обед из тушенки, разогревая ее прямо в банках. Где-то впереди, у самого моря, должна была встретиться на моем пути деревенька Нижа, обозначенная на второй карте. И вот за чахлой рощицей узловатых рахитичных березок показался слабый дымок, был он почти призрачен, едва различим на фоне бледного неба.

Весь день дул норд-ост и по морю гнало крутые вол-

ны; сколь отрадным показался тогда мне этот зыбкий дымок, сколько, казалось, сулил он надежды, как подстегнул воображение.

Я разом взбодрился, поправил съехавший набок рюкзак и зашагал тверже и шире, уже не глядя себе под ноги, а весь устремился туда, к жилью, где, верно, в какой-нибудь почернелой от морских ветров и времен избе можно будет найти пристанище, испить чаю, поговориться с хозяевами, вслушиваясь в их мелодичную с растягом речь и вникая в их жизнь.

За околицей тянутся нетронутые, несмотря на конец июля, покосы, ветер мотает и мнет стебли высокого тучного травостоя, свистит на улицах в оборванных проводах, хлопает ставнями покосившихся домов, сиротливо уставившихся на реку пустыми окнами. У берега, за излучиной реки, стоят на якоре пять карбасов, разлтых к носам, с обуженными кормами. На жердях колышутся сети, вывешенные на просушку. Жилых домов в деревушке всего несколько. Перекособоченные окошки тускло отблескивают стеклами на солнце, рядом с сараями белеют торцами костры нарубленных, аккуратно уложенных дров. Из дымохода крайней избы курится, стелясь по ветру, сизоватая струйка.

Стучусь в дверь, но никто не выходит. На улицах ни души, деревенька словно вымерла.

— Есть кто живой? — громко говорю я и, пригнувшись, ступаю в просторные, объятые полумраком сени.

В этой половине избы, где треть занимает большая русская печь, где вдоль стен тюфяки да кровати, все окошки мутны от присохших к стеклам комаров и гнуса. Воздух буквально звенит от множества набившихся сюда, в тепло, насекомых. Над каждым ложем сооружен полог из простыней, растянутых на веревочках.

В первую минуту я застыл от растерянности и недоумения: людей не видно, хотя слышны голоса; да из продушин, специально оставленных в белых матерчатых

саркофагах, курятся, поднимаются к потолку струи табачного дыма. Справа от меня, на печи послышался шорох, из-под приподнятого одеяла глянуло бледное лицо с запухшими от сна глазами.

— Штормит дак который день подряд,— зевнул сладко мужик до мучительного хруста в скулах.— Эх, погоды,— вздохнул он и поскреб под рубахой грудь. Потом нехотя выбрался из-под одеяла, сел, свесив длинные ноги, обутые в меховые липты, и улыбнулся добродушно и немного смущенно.

— Штормишко привалит, тут уж когды день, а когды и два поотдохнешь не своей охотой, в море-то не выйти проверить ставники на селедку. Тут уж мы, как говорится, по монтажу — где лежу, а где сижу.— Он крикнул, потянулся, выпятив худую грудь, и мягко спрыгнул на пол.

— Заспался, так и моторки вашей не услышал,— проговорил он и глянул в окно.

— Вы с кем, извиняюсь, прибыли?

Я рассказал, что пришел пешком, объяснил, что путешествуую вдоль побережья.

— Что ж, милости просим. Да вы проходите в избу-то, присаживайтесь,— словно обрадовавшись чему-то, сказал он.

— Д-да, редко в наши края москвичи жалуют... Так, так. Значит, жизнью нашей рыбацкой интересуетесь? Это приятно. Я сейчас самовар налажу, чайку испьете с дороги,— сказал он и вышел в сени.

Вскоре из соседней избы пришел бригадир,— кражистый степенный рыбак лет пятидесяти с обветренным лицом, узкими, пронзительной голубизны глазами.

— Шуваев, Семен Александрович, — протянул он мне руку и долгим оценивающим взглядом посмотрел в лицо.

Я спросил, почему безлюдна их деревенька и так мно-

го пустых домов, оборваны провода, точно недавно прошелся здесь ураган.

— Дак деревня-то умирающая, нынешнюю зиму всего три жителя здесь останется — старухи... — протянул он. — Я избу свою разобрал, а как притякнут морозы — отволоку трактором в Долгощелье, где центральная усадьба, опять по бревнышку соберу там. Прежние года здесь, в Ниже, колхозное отделение было, да решили в районе, что неперспективна деревушка наша. Мода, вишь, укрупнять колхозы пришла.

И он стал с проникновенностью и грустью в голосе рассказывать, сколь хороши здесь покосы и как обидно мужикам, родившимся и выросшим в Ниже, покидать деревушку. В прежние года содержалась тут треть колхозного стада, места хорошие для ловли в зимнюю и весеннюю путины наваги, а вот как забогател колхоз, купил на ссуду, взятую у государства, три рыболовецких сейнера, что ходят в Атлантику за мойвой, — и похерили прибрежный лов, сочли, что ни к чему колхозу это отделение на побережье в тридцати километрах от центральной усадьбы. Теперь приходят они сюда бригадой на карбасах из Долгощелья в июне, ставят в море дрефтерные сети и ждут, проверяют раз в день во время прилива. Но если накатит шторм — иной раз приходится выждать неделю и больше, и заняться на берегу мужикам теперь нечем, хозяйства ведь никакого, даже сено на пожнях косить ни к чему — не резон плавить его отсюда морем.

— Я тебе, милый товарищ, так скажу, охотой своей мы б в жисть не снялись, дак свет отключили, почту, школу прикрыли, продукты перестали завозить в магазин... Вот и пришлось перекинуться со всем хозяйством в Долгощелье. А скотину, что держали здесь, сдать на убой пришлось. Там от, в Долгощелье, не всяк ей место нашел. Теперь живем не своим домашним молочком да мясом — на магазин надеемся, а в магазине продукт

самый печальный — крупа да консервы, яйцо на вертолетах завозят... Своим-то хозяйством жить было веселей. Вот обстроюсь там, дом, сараюшник поставлю — может, и заведу опять коровенку. Обретаемся здесь почитай второй месяц, а из-за шторма без дела тоскливо сидеть... Слабовато идет селедка сей год в наши берега. Весна была поздняя... Да и белухи развелось нонче много, столь развелось, что сил нет, рвет наши сети. А чтоб промыслять ее, белуху-ти, никто, вишь, из начальства мозгами не раскидывает. Зря, зря. Сало ее по пятьдесят копеек за килограмм, да мясо, да шкура тоже стоит чего-то. Тонна в ней одного сала, почитай на полтыщи. В нашем, в Мезенском районе, ни один колхоз не шевелится, чтобы ее промыслять.

Слева от меня дернулся полог над кроватью, кто-то хекнул, показалась нога в шерстяном носке грубой вязки. Кряжистый зарумянившийся со сна рыбак вылез из-под полога, сел рядом со мной на лавку, закурил.

— Я тебе, товарищ путешественник, прямо в лоб скажу — по старинке промысляем мы на береговом лове, той же методой, что деды и прадеды наши. Только в прежни года нитяны сети были, а у нас — капрон. Дак белуху-ти старики что ни год били, а мы не бьем. По двадцать пять карбасов — слышь, ходили за ней под Конушин из Долгощелья. А теперь ни единого. Теперь не то, что в Архангельске да в Мезени — у нас в Долгощелье не купишь в магазине рыбку свежую. Мало, мало заботятся о береговом лове, считают, мороки с ним много. Это в прежние времена, когда были только елы да шхунки деревянные, промыслили у берегов, а теперь корабли железны, в океан ходят, морозят в трюмах рыбу. Теперь всей деревней не выйдут с сетями на карбасах, ежели прет в берега вешней порой белуха.

— Вот наш колхоз «Север» — миллионер, — раздался за моей спиной бодрый молодой голос, и из-под полога вылез невысокий моложавый рыбак.

— А откуда у нас миллионные доходы? От сейнеров СРТ. Порт приписки у сейнеров — Мурманск, команда почитай вся наемная, вербуют ее конторские из Рыбакколхозсоюза, к которому мы относимся. Вот и выходит, что хоть куплены суда на колхозные деньги, да имеют отношение к колхозу как пришей кобыле хвост. Вон в колхозе «Прилив» в Ручьях — два СРТ, а в команде всего один мужик деревенский. Теперь подумай, ежели дают СРТ из трех миллионов дохода нашего колхоза два с половиной в год, так зачем председателю чесаться о береговом лове? На черта ему эта морока с белухой? Купим мы на будущий год еще один СРТ, наберут конторские в Мурманске команду из бичей, оформят их колхозниками, а те охотно идут, потому колхознику подоходный налог платить не надо — и будет у колхоза доход не три миллиона, а четыре. Во! Сразу перевыполнение плана. Мы вроде как держатели акций.

— Почему же ваши, деревенские, неохотно идут плавать на сейнеры? — полюбопытствовал я и рассказал им о моем знакомстве с Афиногеном из деревни Майда.

— Дак кое-кто и сходит в рейс, другой, — говорил, отмахиваясь от комаров, парень, — да только рейсы уж больно долги — по шесть, семь месяцев, а у многих хозяйство свое: у кого коровенка, у кого овцы. Да и семью подолгу оставлять нельзя без мужицкой руки в доме, сено заготовить, дрова на зиму — все ведь плавить по реке карбасом надо, женщине одной не с руки. Вот ежели б на месяц, другой уйти в рейс — это дело другое, особенно в пору после сенокоса. Выходит, никак не обойтись колхозу без наемной команды на сейнерах.

Вскоре из-под пологов вылезли и остальные рыбаки, завязался разговор. Все горячились, перебивая друг друга, стараясь растолковать мне подходчивей о колхозных делах.

— Поглядите, что получается, — снова повел речь бригадир, голос у него был простуженный, сиплый, но сдержанная медлительность придавала особенную вескость его словам. Мужики почтительно умолкли.

— Там, в Атлантике, сейнеры обеспечивают колхозу план, оно и удобно для председателя. Белухой, прибрежным, озерным ловом заниматься морочливей... В районе двести сорок крупных озер, некоторые в поперечке до десяти километров, а только на Варзенских озерах ловит соседний колхоз, потому совсем уж под боком. Морока лишняя для руководства нашего — завозить на озера мужиков, рыбу вывозить из тундры, самим время от времени наведываться... Рыба там — окунь, ерш, щука, пелядь... Ежели б выловить сорны породы да оставить пелядь, частика, сига — куда выгоднее было б. Да коптильни там поставить, а в деревне консервный цех. Самим обрабатывать надо — и выгода, и занятие для женщин, и меньше рыбы пропадет в летнюю пору, а то сколь загорит пока до города довезут.

— Д-да,— вздохнул он прерывисто и смял крепкими, побуревшими от табака пальцами окурочок.— Край у нас богатый, сколь добра под боком, а взять не умеем... В деревне почитай у каждого третьего моторка, хоть рыбы не видим в магазине, а у многих она на столе. Для колхоза прибрежный лов — мелкий интерес, а для браконьера, что ловит семушку да сига,— не мелкий, потому что надо то — обласкать мужику брюхо.

Была неподалеку отсюда деревня Семжа — само название за себя говорит — семга в реку Семжу испокон шла на нерест, селедку вешней порой брали. А началось укрупнение, выселили народ и умерла деревня, никто там не проживает, зато браконьеров теперь полным-полно на реке, промышляют безнаказанно, рыбинспекции туда морем-то добираться из Мезени не очень ловко. Вот тебе и береговой лов.

Рыбачья деревня у нас, девятьсот жителей, а на береговом промысле всего тридцать восемь человек занято. Мужики еще найдется дело — плотничать, в гараже по механической части, на тракторе работать, а девушкам там вообще заняться нечем, уезжают они в район после окончания десятилетки. Невесты в наших краях большой дефицит. Парни после армии возвращаются домой, для них завсегда есть занятие, а молодой много ли радости сидеть дома? Председатель который год обещает построить промкомбинат: шкуры выделывать овечьи да шить полушубки. Сколь овец в деревне нашей, почитай в каждом дворе по пять, шесть голов, а забьют на мясо — шкуру девать некуда. Так и пылятся, гниют на повети. Ну состригут шерсть на носки бабы, а кожа-то сама да подшерсток пропадает, в землю опосля, слышь, закапываем, а за тулупами в Архангельск на базар мужики ездят, втридорога платят... Только обещаниям этим конца не видно. Ждали, ждали, да уж все жданки съели...

— И то верно говоришь, Семен Александрович, — поддержал бригадира пожилой рыбак. — Вот в соседней деревне Койде, так у них и цех по выделке морзверя и мастерская по пошиву шапок, пим из шкур белька. Там и для женщин занятие есть. Строительство ведется: то новые ясли, то АТС. Сейчас вышку ставят — через спутник телепередачи будут. Так они и в Майде отделение сохранили, не переселили народ, у них и рыбаки сидят на тонях да озерах, рыба в магазине всегда...

Мне вспомнился разговор на пароходе, когда плыл я от Архангельска, с моряком тралового флота, который рассказал, что северное отделение института ПИПРО, к сожалению, не разрабатывает новых способов лова. Только и удается взять голов сто за сезон в Тарханове, где мелководная бухта и белуха сама заходит в погоне за семгой на мелководье. Тогда перегораживают гор-

ловину бұхты, спускают на воду шлюпки и бьют ее, запутавшуюся в сетях, из карабинов.

Можно бы миллионные доходы иметь, а сколько сельдki, сколько семги она изводит зря, — говорит он.

Сидя в прокуренной избушке рыбаков, слушая их разговоры, я размышлял о том, что немало написано очерков, дневников и элегий, романтизирующих поморскую жизнь, такую нелегкую и сложную, а вот подумать о том, чтобы не вымирали старинные прибрежные деревушки, сказать, что нужно, чтобы удержать сельскую молодежь на местах, никто не озаботился, и если не побеспокоиться и сейчас, то, может быть, со временем обезлюдеет то же Долгощелье, потому что колхозный флот со всего побережья стоит в Мурманске, ходят на нем в Атлантику бичи из тралового флота, и кто знает, не резоннее ли со временем передать рыболовецкие суда под централизованное управление «Севрыбе» в том же Мурманске, что выгоднее для государства. Можно сотни раз поражаться «какой-то нездешности и уродливой красоте» белухи, но от этого промысел ее не улучшится, не станет ее меньше, все так же будет она истреблять семгу и сельдь в Белом и Баренцевом морях, рвать ставниковые дрейфтерные неводы, оставляя поморов без рыбы. Сам факт, что колхозы богатеют, отрядный, но развитие их зачастую однобоко. В Архангельской области тысяча пятьсот озер, но мало кто занимается озерным ловом, разводит более ценные породы, вылавливает ту рыбу, которой и сейчас полным-полно в них.

Отчасти причина равнодушия к пресноводной рыбе понятна. Прежде чем культивировать в озерах, скажем, пелядь, заключать договора с «Севрыбпромом» колхозам, нужно провести частичные исследования, заниматься организационной стороной дела, да и закупочная цена на пресноводную рыбу ниже, чем на морскую. Скажем, на щуку — восемьдесят пять копеек за килограмм. Правда, государство дает доплату из госбюджета — со-

рок четыре копейки за килограмм, но доплату эту получает не колхоз, а «Архрыбпром», поставляющий рыбу в торговую сеть, хотя именно колхоз, как производитель, должен был бы получать этот финансовый стимул. Если бы колхозы входили в системы гослова, «Архрыбпром» их бы не обделял. Да и рациональнее самим колхозам вести обработку рыбы, поставлять ее в торговую сеть, меньше было бы потерь, больше заинтересованности, исчезли бы лишние транспортные расходы, сократился административный аппарат «Архрыбпрома», который в настоящее время неоправданно велик. Такая же картина характерна и для карельского побережья, где только за один 1982 год доплата из госбюджета сверх розничных цен на рыбу составила восемнадцать миллионов рублей для «Карелрыбпрома».

Однажды я был в эстонском рыболовецком колхозе имени Кирова, где все хозяйство организовано на прибрежном промысле в Балтийском море. Копченая, соленая и консервированная рыба идет не только в магазины деревень и городов, но и на экспорт. Нет отбоя от желающих со стороны вступить в этот колхоз, где и для рыбаков и для молодежи, оставшейся на берегу, всегда находится дело.

Нужно отдавать дань северной романтике, воспевать этот суровый край, но надо и болеть о том, чтобы «морушки-поморушки» не разъехались с побережья.

На пути из Нижи в Долгощелье, когда шли мы морем на карбасе, я все думал о том, что услышал от рыбаков, и, словно в подтверждение их слов, неподалеку от борта, чуть мористее, вспенивали зеленоватую воду высоко выступавшие, точно отлитые из олова, белесые хребтины белух. По временам из воды показывались их тупорылые морды с резкими, почти отвесно переходящими в нос лбами, напоминавшими шлемы, и слышались мерные вздохи.

— Не боятся, совсем рядом идут, — заметил кормщик

и, налегши на погудало руля, чуть изменил курс, уваливаясь вбок. Но белухи почти не свернули, все так же спокойно вспенивали воду метрах в пяти, словно подзадоривая нас.

— При большой воде дак они по Кулою к самому Долгощелью поднимаются, рядом с деревней промывают. Привыкли, моторов не пугаются, никто разбойничать им не мешает.

Солнце стояло уже высоко в зените, когда, миновав устье, подходили мы к деревне. Берег реки был усеян множеством дюралевых моторок: «Казанки», «Прогрессы», «Днепры», «Ока»... Весь этот любительский флот бередит по ночам реку, ставят расторопные мужики яруса, сетки в устье...

Колхозных карбасов для прибрежного лова всего шесть, зато масса ветхих суденышек, подпирающих бортами оползающие берега: сгнившие шхунки, ёлы, кочи, дорки, на которых в прежние времена старики ходили в прибрежных водах артелями на промысел селедки, трески, семги, белухи. В те годы что ни зима тянулись в Архангельск обозы, везли поморы рыбу соленую и копченую и мороженую, благо у самих был избыток...

16

Дожидаюсь катера, который пойдет по колхозным делам в Мезень, второй день живу я в высокой просторной избе, стоящей на острове, в устье небольшой речушки. Летом речушка мелеет и можно перейти ее вброд не отворачивая голенищ сапог, но весной и осенью, когда споро заряжают дожди, она полнится и разливается так, что затапливает ветхий с осклизлыми и позеленевшими бревнами мосточек. Тогда хозяйка избы, восьмидесятилетняя старуха Августа, на несколько месяцев остается в полном одиночестве на острове.

Дом ее древен, сложен из гладких, потемневших от времени огромных сосновых бревен, состоит из двух по-

ловин — летней и зимней избы, которые разделены между собой стеной. Большая половина — так называемая изба с говбцем, а меньшая — горница с лежанкой. В прежние времена построить такую избу не всякой семье было под силу, и крепкий обширный пятистенок для крестьянина средней руки был идеалом, к которому стремился он всю жизнь.

Ставлен пятистенок еще прадедом старухи Августы, потомственным помором. Сколько родилось здесь людей, сколько справлялось свадеб в этом доме, сколько было праздничных застолий. В первый год супружества молодые поселялись на вышке в маленькой комнатке о два окошка, куда ведет узкая лесенка с повети. Через окошки, глазающие из-под самой кровли, открывается прекрасный вид на реку, на протянувшуюся вдоль берега деревню с возвышающейся посередине на угоре колокольней, чистый и высокий звонок колоколов, который был далеко слышен в туманные и ненастные дни поморам, идущим на карбасах с промысла.

Иззябший, усталый, но возвратившийся в деревню с добычей, ступал хозяин через высокий истершийся порог этой избы, и его встречали улыбками, скупыми слезами радости, горница наполнялась шумными голосами. И пока закипал самовар, он стягивал бахилы, отсыревшую, густо пропахшую ворванью одежду, проникаясь избяным теплом, отрадным сознанием домашнего уюта, оглядывал привычно украшенные лубками стены, окрашенные охрой лавки, выскобленный до тусклого блеска, крепкий с разлатыми крест-накрест ножками стол. Попарившись в бане, надев чистую замошную рубаху, хозяин усаживался ужинать со всей семьей, и снова шли разговоры, неторопливые рассказы о промысле. А потом, уже полупшепотом, чтобы не разбудить уснувших детей, за пологом светлицы женщина, прикикая к нему, говорила что-то ласковое, а перед глазами его все еще стояли крутые горбы и провалы зеленоватых волн. Жаркое ды-

ханне отогревало его обветренные щеки, потрескавшиеся губы, ощущавшие солоноватый привкус слез.

Я лежу на широкой дощатой лежанке, так называемом говбце, пристроенном вдоль русской печи, и тихую гулкую порожность избы изредка нарушают поскрипывание стен и балок, словно дом живет какой-то своей сложной и недоступной моему пониманию жизнью, невнятно жалуясь приглушенными шорохами на свою сиротливую пустоту.

Мне чудится, что я слышу голоса живших тут многих людей, в сознании выплывают смутные мужские и женские обличья, теснятся в горнице, подступают все ближе и ближе... И вот уже возникает какая-то неуловимая слитность с нами; то, что казалось совсем недавно призраками, облекается в плоть... Все, что было выстрадано и прочувствовано жившими здесь людьми, не должно раствориться, кануть бесследно в безвременье; от моей малости зависит, чтобы другие узнали об их нелегкой судьбе и дом этот снова наполнился человеческим теплом и уютом.

За окном стоит призрачная белая ночь — или это уже подступил рассвет? Чуть слезятся, чуть замутились стекла от дымчатой сизой хмари, которую нагнало со стороны моря и обволокло деревню, реку, бурую полосу упирающегося щербатыми обводами в низкое небо леса. И кажется, время растворилось в этой дымке, дни и ночи сплелись в неуловимую протяженность, чтобы заставить острее ощутить, что всяким лишним часом забывая мы отворачиваемся от мира и обделяем себя.

В соседней комнате спит старуха, она часто вздыхает, ворочается во сне. Может быть, по ночам к ней возвращаются в грезах те годы, когда была она еще молодой, встречала со зверобойного промысла мужа, уходившего с артелью в торосы на три долгих зимних месяца, и бежала на берег с замиравшим и опадавшим сердцем. Или, может быть, видится ей, как сама она,

впрягшись в лямку, тащит вместе с товарками лодку-ледянку, удаляясь все дальше и дальше в зимнее море по заснеженным полям, перемежающимся разводьями, на промысел тюленя в сорок первом, когда в деревне из мужчин остались одни старики? Как проваливалась она в полыньи, а выбравшись, только и оставалось сушить одежду тем, что побегаешь по льдине да обобьешь с себя стынущими руками мгновенно твердеющую на ветру корку, звенящую оскретками, и забываешься за работой, не чувствуешь холода, юркая тяжелые тюленьи туши. Или, может быть, вспоминается ей то время, когда пришла похоронка на мужа, а вскорости на двух сыновей. Как вопила она, как причитала тогда и рвала на себе пробитые первой сединой волосы, как томительны были дни и ночи от иссушившей намертво сердце тоски.

На стене избы против меня фотография, где она совсем еще молоденькая рядом с мужем. Скупыми словами объясняла мне Августа при нашем знакомстве, когда я расспрашивал ее:

— Дак фотография-то составлена, уж недавно делана. Все времени не доставало по тем годам съездить вместе в Архангельск. Отдельно сымались. Он уж военну карточку прислал, в пилотке был, волосья на фотокарточке рисованы. Просила я в мастерской фотографа, чтоб вместе нас составили, он уж уважил, сделал не худо, — говорила она с северным характерным ростягом. Очень ей хотелось иметь семейный портрет, а только и осталось от мужа, что маленькая фотокарточка, снятая фронтовым корреспондентом. Хоть теперь по прошествии стольких лет соединили их на семейном портрете вместе.

Научил ее муж и с карбасом управляться, и из карабина зверя стрелять. И я вспоминаю, как она говорила мне:

— Никогда у нас бабы на промысле не заленивались,

робили наравне с мужиками, не я одна в море на веслах да с юрком горбатилась. Ты уж ежели горазд писать — не про меня одну, про всех пиши. Почто меня приметил-то?

Не любила она хвастать, не жаловалась на свою трудную жизнь и теперешнее одиночество. Да и что необычного виделось ей в том, что бросалась в ледяную воду, помогала товарищу выбраться из полыньи, спасала тех, кто трудился с ней бок о бок, делилась последней краюхой хлеба. Всякий поступил бы так на ее месте.

Я вышел из избы, зачинаялось утро, от воды тянуло одымью, влажно мерцавшей в косых лучах низкого пурпурного солнца. Лилово-сизая, подернутая твердым блеском река была почти недвижима, мелкие зыбульки вызванивали с едва уловимым плеском у самого берега, и казалось, что островок плывет к морю и вскоре раскинувшаяся на угоре деревня останется позади. Оттуда слышались какие-то прерывистые голоса... Блеклое небо над головой было непроницаемо серое, но на востоке уже начинало расчищаться и за макушками леса сквозило стылой голубизной.

После обеда маленький катерок уже увозил меня из этих мест, и, когда миновали мы остров, старуха Августа стояла на берегу, приземистая, сухонькая, в старом платье и котях на босу ногу, закидывала переметы на камбалу, а рядом бродила, пощипывала траву ее грязно-белая коза.

Море охватило нас крепким соленым дыханием. Прорезая мелкую зыбь длинной пенистой полосой, на западе кипел сувой. Там схлестывались холодное течение с севера и теплое со стороны реки. Я стоял на корме, жадно курил папиросу, глядя на истончавшийся, все дальше и дальше уходивший берег, и было такое чувство, словно там я оставил кого-то, ставшего мне, городскому человеку, близким в этой деревеньке, на дол-

гом и пустынном побережье, которое прежде, когда глядел на карту, представлялось мне холодным краем земли; и раньше думалось, что если пройду его, то чем-то возвышусь в собственных глазах, но никак не предполагал я в себе этой грусти и боли, которые теперь охватили меня.

И многие лица по сей день встают в моей памяти, и мне хотелось бы сказать о северных людях гораздо больше, и не только словом, но и делом помочь чем-то им, приобщиться к их нелегкому труду.

Вечерами, когда ноябрьские сумерки наползают на город и заморозки прихватывают пожухлую листву на ветках клена, растущего под моим окном, я невольно думаю, каково сейчас там, на Белом море. Тундра, наверное, уже заметена снегами, небо робко цедит мутный свет в короткие полярные дни, а выжатый стужей воздух обжигаете сух, и далеко слышен в нем под порывами ветра гул еще ту же натянутых морозом проводов.

Ненцы сменили летние палатки на зимние, обтянутые изнутри шкурами, олени движутся от замерзшего моря в глубь суши, отыскивают под снегом все еще зеленый ягель, окуная в него обметанные инеем ноздри.

Рыбак Афиноген давно убрал сети с тоней, выкопал колья на побережье, чтобы их не изломало льдами; живет в деревне, готовится к зимней путине, когда приспеет время ехать на промысел наваги на Канин Нос. Или, может быть, решение вернуться на флот созрело в нем окончательно, и корабль его бороздит воды Атлантики где-нибудь возле экватора под палящими лучами солнца, в лицо ему дуют южные ветры, теплые и влажные в отличие от студеных Полуночника, Обедника, Шалоника на его родных берегах.

А старуха Августа, наверное, сидит в своей избе и тихо напевает над пряльцами, прислушиваясь к беснующейся за окном метели, к вою ветра в печной трубе, к грохоту ломающегося под берегом в штормовую ночь

льда, и сколько терпеливости, сколько любви к своему краю и дому надо иметь, чтобы жить одной на этом крохотном островке и не соглашаться переехать в город к дочери, которая давно зовет ее к себе в удобную и теплую квартиру.

Когда я вспоминаю встречавшихся на моем пути людей, задумываюсь над их нелегкими судьбами, я забываю о всех своих мелких невзгодах и неудачах, потому что им во сто крат тяжелей, чем мне.

Придет время, и я снова вернусь туда, в эти тихие деревушки, приютившиеся на краю земли, деревушки, которые не должны исчезнуть ни через десять, ни через пятьдесят, ни через сто лет.

ЗИМНИЙ БЕРЕГ

Весна на Белом море поздняя. В марте горловина между Зимним и Терским берегом густо забита льдом. До начала навигации еще далеко, но течением в сторону Канина Носа уже медленно выносит торосистые поля и дрейфует на них восьмисоттысячное стадо гренландского тюленя, успевшего к концу февраля вывести потомство.

Если взобраться на торос и оглядеться по сторонам, то удивишься, как густо заселено зверем это плавучее ледовое государство, медленно подвигающееся к Баренцеву морю. Там весенние шторма изломают, раздробят огромные льдины, но не разобьют стадо, которое в мае доберется до прикромочных льдов Карского моря, в июне побывает в заливах Новой Земли, пройдет проливами Земли Франца-Иосифа и к августу будет у Северной Земли. В сентябре снова двинется стадо в поисках пищи к Канинскому побережью. Поистине кочевническая жизнь, полная риска, заставляющая проделывать сотни миль в поисках пищи. Но что бы ни было, в январе беломорское стадо придет вывести потомство к Зимнему

берегу, к южной части Горла. Тюлени сделают продушины в метровом льду, и белые поля запестреют от ценных залежек.

С первого марта начинается промысел двухнедельного молодняка — белька, шкура которого пушиста, нежно-желтовата и отличается редкой прочностью, а с семнадцатого, когда залежки течением относит уже к острову Моржовцу, наступает второй этап промысла (безубойный) — отлавливают начавший линять месячный молодняк, так называемых хохлуш. Хохлуши весят до пятидесяти килограмм и ведут уже самостоятельный образ жизни, существуя за счет подкожного жира, чтобы к концу марта, сбросив эмбриональный покров, превратиться в серку. Шкура серки имеет короткий ворс и пятнистую окраску взрослого зверя. Зверобой отгоняют хохлуш от взрослых самок, надевают на них сетки, грузят в контейнеры. Контейнеры вертолеты доставят в приморскую деревню Койду, где звери в вольерах живут до конца линьки. Добывать серку (мех которой не менее ценен, чем у белька) в море опасно — торосистые поля к тому времени, когда закончится линька, уже далеко от земли, изломанные штормами, и взять зверя можно только со шлюпки выстрелом из карабина, при этом немало подранков уходит под лед.

Рано утром, когда, туго натянутые за ночь морозом, гудят провода и в барак, где зверобой ждут вылета на лед, сквозь щели между досками прорывается ветер, колебля зависший под потолком дым, зверобой сидят на опрокинутых бочках, ящиках, покуривают, томясь в ожидании, играют в «козла», изредка перекидываются скупыми фразами. Рядом на площадке техники спуют у вертолетов, готовят их к вылету, снимают троса, которыми принятованы на ночь винты.

В микрофонах портативных радиопередатчиков, что видны из-под распахнутых телогреек, сквозь шум эфира прорывается голос диспетчера: «В Мезени видимость

два километра, на Вороновом маяке — тысяча пятьсот. Ветер сто тридцать, три, пять...»

Молодой помор, вздохнув, роняет:

— На горé ежели в туман и заплутать, так что... Вот если в море берегов не найдут?..

— Вылетят, дак назад дорогу прибором завсегда отыщут. Почто волнуися, — усмехается его сосед.

— Дак я не волнуюсь, я так. — Парень делает последнюю затяжку и стреляет чинариком в железный подставень под трехногой печуркой. Печурка дымит немилосердно, сырые дрова горят плохо, но в бараке не холодно, набилось сюда человек пятьдесят. Узкое окошко обметало ннеем, стены в углах закружавели досния с наветренной стороны. Зыбкий, чуть уловимый парок от дыхания теряется в густом сигаретном дыму, в воздухе, прохваченном смолистым запахом елового теса.

— Жукова не видели? — спрашиваю я. Поморы отрицательно качают головами.

Познакомились мы с Василием Жуковым в прошлом году летом, когда рыбаки из Нижи взяли меня с собой в карбас на промысел селедки. Удивительный человек этот Вася Жуков. Ростом он мал, худ, но держится со степенством пятидесятилетнего мужчины, в низком грудном голосе его много силы и уверенности, а в скупом говоре — обстоятельности и знания рыбацкого дела. В бригаде, где Жуков звеньевым, к его мнению прислушиваются даже старики. Там, где Василий поставит ставные неводы, всегда оказывается больше селедки, на промысле наваги он больше всех дает со своим звеном перевыполнения плана, в тундре знает такие озера, где крупная серебристая пелядь. Он и карбасы умеет строить и моторы чинить. А вечером у рыбацкого костра берет он в руки свою старенькую гармошку и начинает петь. Тут мгновенно смолкают все разговоры. Поет он чаще всего старые поморские песни, которых ни в одной поморской деревне не довелось мне слышать.

Голос у Жукова слегка сипловатый, простуженный, поет он, закрывая по временам от избытка чувства глаза, не замечает, как ветром несет от костра на его одежду искры, и тогда кто-нибудь из сидящих рядом рыбаков поспешно наклоняется и тушит на его одежде искру, от которой уже занялась едким дымком ткань.

Сколько раз я себя ругал, вернувшись из летней поездки, что не записал текст его песен.

Но сейчас мне хотелось встретиться с ним не столько для того, чтобы записать эти песни, а чтобы увидеть его, полететь на вертолете с его звеном на промысел. Но сколько я ни бродил по селу, ни расспрашивал всех о Жукове, никто его здесь, на промысле, не видел.

За день я столько наслышался от летчиков и радистов, идущих с бригадами на промысел, рассказов, как ломает льдины течением на мелях — «кошках», как уносит зверобоев на хрупких осколках и тащит вдоль острова Моржовец, как их разыскивают и подбирают вертолеты, и воображение уже рисовало эти зловещие «кошки», точно колуном раскалывающие торосистые поля, по которым, ширясь и темнея полыньями, бегут трещины, и я вглядывался в лица поморов, пристально вслушивался в их разговоры, пытаюсь уловить невольное волнение и понять, о чем думают они, покуривая и щуря от дыма глаза. Лица спокойны, позы лениво беспечны — один дремлет на корточках у стены, прикрыв, как птица, глаза, другой строгает длинным рыбацким ножом лучины, подкидывает в печурку, едва слышно мурлыча себе под нос нехитрую мелодию.

Два односельчанина, попавшие в разные бригады, беседуют вполголоса между собой:

— Наш-то командир вертолета башковитый. Не приземляет машину в центр залежки, а с краю норовит. Потому как ежели в центр залежки бригаду высадить, разбегаются зверь в момент. Дак он с краю нас пустит, а потом облетит с другого боку стадо — зверь весь и идет

на нас. Только поспевай. Лыдина хоть и небольшая, а четыре контейнера взяли за три часа. Волочить легко, ни единого тороса.

— Дак и у нас зверя хватало. Местами лед чистый, да гладкий, а местами дак ропосливый: тащишь — не зацепляешься. А потом на кошке как пошло крошить, враз с трехэтажный домино стомуху наворотило. Четверть лыдины нашей моментом в чистое крошево. Дак бригадир отвел работать подале от припая.

— А у вас кто ж бригадир?

— Да Колька, да звеньевых два Мити.

То и дело из разговоров слышатся непривычные мне слова — нилас, снежура, припай, блинчатый лед, стомухи, ропаки; разговоры эти бередают воображение, перед глазами встают оснеженные плавучие острова с иззелена-голубоватыми глыбами искрящегося под солнцем, вывороченного наверх крупнобитого льда, торопливо пластающиеся к спасительным продушинам тюлени, за которыми тянется сверкающая, точно смазанная жиром, полоса по примятому снегу...

...Пятьсот двадцать восьмой к полету готов, условия имею. Пятьсот двадцать четвертый к полету готов... — слышатся голоса летчиков в эфире. — Первая бригада, на лед, — звучит команда диспетчера в микрофоне сидящего неподалеко от меня коренастого парня в оранжево-белом опознавательном жилете, надетом поверх телотрейки... — Пятая бригада, на лед!..

И вот мы летим над морем. Ушел в сторону покатый берег с редкими, стоящими в одиночестве деревьями среди прочно укрытой снегом тундры. Огромным белым горбом выступает над морем остров Моржовец. Сиротливо чернеет на краю острова деревянная башенка маяка. Внизу торосистые поля, разводья, по которым гонит ветром мелкую зыбь; взблескивает под солнцем собравшаяся у кромки льда мешанина припая. То здесь, то там

видны среди разводий один, два тюленя на небольших обломках льда, покачивающихся на волнах, точно надувные матрацы с отдыхающими. Это уединившиеся старые самцы.

...Солнце бьет в иллюминаторы, дробится в стеклах кабины, где стоит густой вибрирующий гул. Ярко-красные спасательные жилеты торчат над плечами пилотов выше макушек, точно накрахмаленные жабо, и это придает им некую величавость.

Сидящие рядом со мной поморы изредка рассеянно взглядывают вниз: зимнее море, льдины, тюлени — все это для них столь буднично, столь обычно, видно сотни раз. Кто дремлет, кто поправляет снаряжение перед скорым уже выходом на лед.

Вертолетчики не рискуют сажать машину на тонкий лед. Выпрыгиваем из кабины с полутораметровой высоты; бригадники выбрасывают на снег ворох сеток для зверя, гремящие жестью лохани с ляжками, в которых поволокут плененных хохлуш к контейнеру.

Снежный вихрь, поднятый винтом, медленно опадает, сверкая в лучах солнца серпантином. Через несколько минут, когда гул мотора стихает вдали, невольно замираешь и вслушиваешься в напряженную тишину, которую изредка прерывает жалобный крик лежащей в десяти шагах перепуганной хохлуши. Из-за ропака выглядывает матерый лысун, слышится его недовольное, сдержанное рычание. Кругом вывороченные глыбы льда, крепко спаянные морозом заграждения торосов, светящихся из глубины завалов фосфоресцирующей голубишной. Тут же рядом ровные, словно застывшие, озера, плешины, присыпанные снегом, на которых лежат парами тюлени. То там, то здесь во льду круглые продушины с выступающей на полметра наледью, точно вокруг колодца; мягко шуршит шуга. Два лысуна, вихляя задними лапами, торопятся к продушинам, загребают что есть мочи катарками по снегу. Окунают голо-

вы в лунки, с трудом протискивают туда судорожно на-прягающиеся, туго налитые жиром тела и исчезают подо льдом, подняв фонтан брызг.

— Гли-ко-сь, точно в норы попрятались, — смеется молодой ненец из деревни Ручьи по фамилии Варницын. Лицо его смугло, маленькие глаза, которые он вдобавок щурит от режущего блеском снега, по временам светятся острым азартом. Телогрейка на нем распахнута, большой промысловый нож бьет при каждом шаге по бедру. Варницын — деревенский пастух, человек искони сухопутный, плавать не умеет и побаивается воды, но на лед за зверем всегда отправляется с охотой: и дело тут не в том, что добыча сулит хороший заработок, дело в особой царящей на промысле атмосфере дружного единства и понимания.

Бригадники отправляются с сетками в сторону залежки, идут по двое, на случай, если кто-нибудь провалится под лед. Начинается отлов хохлуш. Короткая борьба, несколько безуспешных выпадов ощерившегося молодого зверя — и пленник в сетке. Хохлуша недоуменно таращит глаза, пытается высвободиться и наконец издает крик, в котором слышится отчаяние, смешанное со злобой. Отогнанная от детеныша багром зверобоя утельга не уходит далеко, и надо быть начеку, в случае нападения самки убивать ее нельзя, а можно лишь остановить уколом багра в бок или в задние лапы. А не успеешь увернуться — того и гляди разъяренный зверь хватанет челюстями, легким движением которых перекусывает надвое крупную рыбину.

После обеда я сел в вертолет, прилетевший за очередным контейнером, и через полчаса был на окраине приморской деревни Койды, где для тюленей устроены специальные вольеры. От ползающих по снегу, оглушающих воздух тревожными криками изжелта-серых хохлуш рябит в глазах. Крики их напоминают многоголосый женский плач при проводах близких на войну.

Чуть на отлете от вольеров свежесрубленная избушка. Здесь форпост сторожей. В промежутках между ночными обходами можно зайти, отогреться, побаловаться чайком. Сторожа — давно вышедшие на пенсию поморы, которые ходили когда-то промыслять зверя на весловальных карбасах, а позже на ледоколах. Во время зверобойки людей не хватает, все, кто помоложе да покрепче, — на льду или разгружают на берегу контейнеры.

Стучусь в неоструганную сосновую дверь:

— Можно у вас погреться?

— Заходи, заходи, садись, — приглашают меня старики. — Может, чайку испьешь?

Избушка тесновата — посреди стол, по бокам лавки, на лавках навалены тулупы. Два старика в вылинявших ситцевых рубахах ниже пояса, на ногах традиционное поморское одеяние — обрезанные по щиколотку валенки, пришитые к брюкам, которые схвачены тесемками ниже колен. «Валенки да пришивны голяшки». Теперь такую одежду можно увидеть разве что на стариках, а еще через десяток лет, кроме как в музее поморского быта, нигде ее не увидишь.

Глаза у стариков на удивление одинакового светлоголубого цвета, взгляд доверчивый, мягкий, словно извиляющийся за неприхотливость этого временного жилья.

Чем-то они похожи, — оба невысокие, сухие, с крепкими узловатыми руками, в которых чувствуется цепкость. Я решил было, что они братья.

— Дак нет, не братья, — усмехнулся один из них, налил мне кружку дымящегося чаю и подвинул мисочку с сахаром. — Я — Матвеев Федор Павлович, а он будет, значить, Матвеев Петр Леонтьевич.

— Все же родственники? — допытывался я.

— Дак и не сродственники, — махнул он рукой и закашлял. — Он Крюковского колена, а мы завсегда в

роду Еремкины прозывались, а то есть еще Матвеевы, которые Епифановы, а есть и Гришуткинские также... Много у нас Матвеевых, без дедового прозвания перепутаешь враз всех. Чужи мы, чужи. Просто однофамильные. Матвеевы — это что, вот у нас в деревне почитай больше половины Малыгины, дак им еще сложнее... — И оба старика улыбаются, смотрят на меня с добродушным снисхождением, щурят слезящиеся от табачного дыма глаза.

Я пил чай и думал: «Какие же вы, старички, чужие, когда прожили жизнь бок о бок в одной деревне, наверное, вместе в море ходили, делили на карбасе последнюю краюху хлеба. Вот откуда эта похожесть в манере держаться, в выражении глаз, словно родные братья».

— Ты чай-то пей, а не гляди на нас, паря. Вот хлеб, вот масло, — добавил другой старик.

Я поинтересовался, не видели ли они случайно Жукова, не заходил ли сюда он по каким-нибудь делам, но оба старика, хорошо знавшие его, тоже не видели его на промысле. Я сидел, пил чай и с любопытством исподволь наблюдал за лицами стариков.

Они не спрашивали меня, кто я, зачем пришел к ним. Пришел человек — гость, надо его приветить. Захочет — сам о себе расскажет, а не захочет, так неволить его в том никто не будет. Сиди да пей чай. Но все же взгляд у старичков внимательный, оценивающий.

Через небольшое окошко, обметанное по углам инеем, видно, как подлетают к разгрузочной площадке вертолеты, опускают контейнеры со зверем и снова уходят в сторону острова Моржовца. Подлетают сразу две машины, стекло в окошке дребезжит от резонанса, и старый пес, пригревшийся под столом, тревожно вскидывает одно ухо, оцепенело вслушивается и, очевидно успокоившись, долго нюхает голенище моего сапога.

— Надо думать, при такой хорошей погоде за де-

сять дней возьмут план на льду? — пытаюсь я вызвать старичков на разговор.

— Эх, паря, теперь чего ж не управиться, ты бы в прежни-то времена на зверя в море сходил, — говорит с ростягом Федор Павлович. — Я всяко хаживал, и на ботах, и на ледоколе. Промышляли зверя трудно.

— А может, за десять дён еще и не управятся, — сухим, чуть сипловатым голосом замечает Петр Леонтьевич, бережно поглаживая правое плечо, которое держит как-то неестественно, выдвинув вперед. — Руку сёдни с утра крутит. Не иначе к касти. Ветер-то переменялся, на сам-север поворотил, — добавляет он отстраненно. — А завьюжит — каки тогда вылеты на лед. . .

— Может, и к касти, против твоей перебитой руки я спорить не буду, у меня такого барометра нет, — охотно соглашается Федор Павлович.

— Меня, паря, хоть на метрологическую службу зачисляй — дармоедом не буду, — говорит с ухмылкой Петр Леонтьевич, — руке моей перешибленной цены нету, загодя дает знать перемену погоды.

— Ранение?

— Оно. Второй Украинский. Пулеметчиком я был, станковый пулемет «максим». . . Ты чего ж холостой-то чай пьешь, погоди, я тебе хлеба с маслом урежу.

Петр Леонтьевич достал из чехла выдавший-перевидавший виды, на две трети источенный промысловый нож, отрезал краюшку хлеба, намазал маслом и положил передо мной.

— Можно нож посмотреть? — попросил я.

— На, смотри.

— Совсем источился, скоро новый заводить придется, — заметил я.

— На мой век еще хватит, теперь такой стали нет. «Лебедь» сталь, из косы горбуши делан в двадцать восьмом году. Я этим ножичком за одну ночь порешил тридцать тюленей. Если б не он, не сидеть нам друг против друга сейчас.

— Расскажите.

— Да что тут рассказывать, — поскреб он щетину на щеке. — Ничего особо любопытного. Случилось, что расколело льдину на промысле, стало, значит, относить меня от своих. А тут завьюжило, закрутило. Одним словом, потерялся как в тумане. Тут уж такое дело, что хоть кричи, хоть не кричи. Главню — нож при мне, не уходит никуда. Порешил утельгу ценную, напился ейного молока. А молоко у ней, скажу тебе, товарищ дорогой, такое, что не сравнить его ни с каким другим, хоть коровьим, хоть козьим, выпьешь литр — и два дня добрехонек и сыт, разве что не пьян жалко. Питание молочного хватает, да... На диету, как говорится, перешел. Однако стал я маленько на сон валиться. Ну, думаю, замерзаю. Вспомнил, как учили старики, — забить зверя, за ним укрыться. Мех-то у белька пушистый да длинный. Лег на зверя, обложился со всех сторон зверем, да и уснул. Пять дён носило меня по морю. Потом нашли наши, сняли со льдины, а заодно и зверя, что порешил. Оклемался я, ничего, через неделю снова на промысел пошел.

Помолчали. Петр Леонтьевич посмотрел в окно, поднялся, стал натягивать тулуп.

— Попоью холодянки да пойду, посмотрю, не надо ли помочь Евграфовичу сетку чинить. Напарник наш, он сейчас на вольерах.

Из избушки мы выходим вместе. От вольеров резко пахнет морем, к небу возносятся крики хохлуш.

— Ты, паря, к нам вечером заходи. Евграфович на ледоколе плавал, на «Сибирякове», который принял бой с немецким линкором «Шеер». Он тебе уж такое порасскажет... Непременно заходи.

Неподалеку от избушки сторожей — вышка, в маленькой застекленной будочке, откуда открывается вид на три стороны света, сидит диспетчер, направляет ра-

боту вертолетчиков, дает команду через мегафон расстроповщикам, предупреждает о подлетающих машинах, чтобы вовремя успели подойти трактора, забрать контейнеры со зверем.

— Пятьсот сороковой, вход в круг разрешаю, — роняет в микрофон диспетчер Николай Александрович Антонов.

— Вольер, я семьсот сорок первый, иду на заправку.

— Семьсот сорок третий, обождите взлет, сейчас пройдет пятьсот сороковой.

— Венера четыре, следите за вторым контейнером, к вам следую.

— Венера один, Венера один, я на подходе. Четыреста девятый, принимай рабочую высоту.

— Четыреста двадцать четвертый, взлетаю со льдины.

В диспетчерской слышны все разговоры, которые ведут между собой пилоты вертолетов, работающих на зверобойке. Время от времени Николай Александрович получает новые данные от метеорологов и сообщает их пилотам. Лицо его напряженно, взгляд сосредоточен, и впечатление такое, что он видит снижающиеся над льдинами, там, за островом Моржовцом, вертолеты, готовые принять контейнеры со зверем...

Надо вовремя сообщить пилотам, насколько снесет при подъеме машину усиливающийся боковой ветер, надо одновременно фиксировать все данные в специальном журнале, который раскрыт на столе, отмечать, сколько доставлено на берег контейнеров.

— Вольер, я пятьсот двадцать четвертый, только что взял на борт со льдины человека, плохо с сердцем, сообщите в медпункт, чтобы встретили, иду на заправочную площадку.

— Вас понял, встретят, — ответил Николай Александрович и тут же позвонил в правление колхоза, вызвал врача.

Приходит сменщик, совсем молодой парень — Саша. Быстро пролистав журнал и задав два, три вопроса Николаю Александровичу, включается в работу. Голос у него ласковый, обращается он через микрофон к пилотам с какой-то особенной нежностью. Розовые губы его едва слышно шелестят у самого микрофона:

— Правая, пятьсот сорок, разрешаю отцепку.

— Я пятьсот сороковой, пошел на заправку.

— Разрешите семьсот двадцать четвертому взлет.

— Взлет разрешаю, ветер пятьдесят, правым против ветра.

Три машины сразу идут на заправку, и у Саши появляется несколько свободных минут. Мы успеваем разговариваться.

— Хотел быть пилотом, когда в училище поступал, — говорит он доверительным тоном, — но подвело зрение, правый глаз минус ноль восемь. При поступлении зрение должно быть стопроцентным, потом уже на это смотрят попроще, многие пилоты у нас летают в очках. Пришлось стать диспетчером. Все-таки рядом с авиацией. Но хотя я и работаю на земле, ответственности в работе не меньше. У нас, диспетчеров, так же как и у пилотов, контрольные талоны качества работы. Если контролер в течение года вырежет два талона — к дальнейшей работе уже не допускают, только с разрешения специальной комиссии. Главное в нашей работе — уметь сосредоточиться, не думать ни о чем постороннем.

Рабочий день в разгаре, деревня, кажется, обезлюдела, кто на промысле, кто на вольерах зверобойки, кто готовит к приемке зверя жиротопный цех, драят чаны, проверяют оборудование. . .

Бродят по улицам рыжие кони, низкорослые, с длинными гривами, со свалывшейся шерстью на крутых боках. Сколько ни доставляли сюда из центральных районов породистых лошадей, не выживают они в здешних

холодах, а эти, с виду неказистые лошаденки, предки которых были завезены к поморам около четырехсот лет назад, спокойно живут себе и нипочем им сорокоградусные морозы. Какая-то особенная порода, морозостойкая. Остановился табунок перед входом в правление колхоза, обнюхали «Буран», заглянули на веранду, попробовал один молодой конек губами плакат, треплющийся на ветру, и побрели лошади дальше, не обращая внимания на путающегося под ногами кудлатого кобелька.

В штабе зверобойки, в большой комнате окнами на восток, высокий сутуловатый мужчина с усталым бледным лицом неторопливо вышагивает из угла в угол, смотрит исподлобья на карту, где заштрихованы пятнами места тюленьих залежек на льду, слушает по включенной радиации, как переговариваются между собой люди, занятые на промысле, беспрерывно курит, по временам достает из кармана патрончик с валидолом, нервным жестом отправляет в рот таблетку, справляется у метеорологов, какая ожидается на завтра погода...

Хотя на промысле все идет пока как нельзя лучше, но внешний вид начальника промысла не выражает оптимизма, точно сама эта благополучность таит в себе некий подвох и он со дня на день ожидает неминуемую, стерегущую его неприятность. Вот только с какой стороны ее ожидать?.. Многие здесь, в деревне, называют между собой Томилова «генералом зверобойного промысла». Ежедневно по утрам он вылетает на первой машине разведать ледовую обстановку, намечает на карте, в каких квадратах, с каких полей брать зверя бригадам, потом возвращается в деревню, в штаб, где чаще всего остается один и проводит весь день у включенной радиации, изредка шелкая тумблером, делая кому-то короткое замечание, и снова шагает из угла в угол, меряя нервной походкой пустую комнату. Может быть, он излишне волнуется, может, ему не следует так переживать? Навер-

ное, мысленно он там, в море, на какой-нибудь льдине, где спокойно и споро работают люди, а торосистые поля несет течением в сторону Канина Носа, и по временам слышится треск ломаемого льда. Каждая минута работы зверобоя на льду сопряжена с риском, точно на войне. Туда, на лед, команды начальника промысла уже не поступают, у бригадиров и радистов связь только с вертолетчиками и диспетчером на маяке острова Моржовец. Да и невозможно никак командовать на расстоянии, на льду все необходимо решать сиюминутно, в зависимости от конкретной, постоянно меняющейся обстановки. На промысле тюленя царь и бог — бригадир.

К концу дня ветер улегся и на тундру опустился туман. Последний вертолет приземлился в тридцатиметровом поле видимости. Солнце мутное, далекое, маленькое, на него можно смотреть, не щуря глаз. Если к утру туман не разгонит ветром, вертолеты в море не полетят.

Вечером в клубе лекция о влиянии человека на окружающую биологическую среду. После лекции — танцы. Танцует человек пятнадцать, совсем зеленая молодежь. Парни постарше играют на бильярде. Большой стол с зеленым сукном, как в Центральном доме литераторов, но шары щербаты, кии вытесаны из еловых веток. Игра идет вяло, перемежается разговорами. Входят пять парней, держатся уверенно, смотрят открыто, приветливо. Зверобой из соседнего приморского села, что в шестидесяти километрах, — Долгощелья. Просят у завклубом гармошку, на время, пока будут находиться здесь на промысле. Тот дает без разговоров, не требует даже расписки, уверен, что по окончании промысла вернут.

— Мужик, пойдем наши песни послушаешь, — приглашает меня невысокий, улыбчивый, с ранней залысиной на высоком лбу звеньевой Сергей Нечаев. Отыскиваю в ворохе одежды свою куртку, выходим из клуба. Тихо, безветренно. Ночь теплая, чуткая, туман скрадывает не только расстояние, но и звуки.

— Тебе что спеть — душевное или чтоб хаханьки? — останавливается Серега и поправляет ремень гармошки, сползший с плеча.

— Давай что-нибудь душевное, — говорю я.

— Хочешь «Угрюмое море»?

— Хочу. — Никогда прежде песни этой я не слышал.

— Песня, мужик, грустная, длинная, — предупреждает Серега и медлит начинать, выжидающе смотрит на меня.

— Ну ладно, слушай, — трогает он мехи гармони.

Голос у Сереги чуть с хрипотцой, но выводит он старательно. Дружки подпевают:

И снова привычно качает,
И снова бурун за кормой...

Плывет песня по селу, теряется в тумане. От скрывающей дома зыбкой пелены тумана странное ощущение, что море где-то совсем рядом, в каких-нибудь тридцати шагах — не скованное льдами, а вольно открытое. От этого чувства близости моря почему-то трудно отделаться, да и не хочется, благодаря ему слова песни звучат как-то особенно проникновенно. Сложил песню безвестный крестьянский парень, ушедший плавать в траловый флот, а мелодия у нее, как говорится, народная, но песня подкупает искренностью простых слов.

Выходим к реке, садимся на ступеньках давно закрытого магазина, где рядом с крыльцом под фонарным столбом обычно собираются старички потолковать о жизни, скоротать время. Место это в селе называют «ток». Сейчас, в этот поздний час, на току безлюдно, глянецвито темнеют рядом окна двухэтажного, рубленого из ели дома «Рыбкоопа». Песня кончается, песня спета. Какое-то время парни молчат, Серега вскидывает на меня глаза и словно испытывает взглядом, «дошла» ли до сердца песня, какое произвела впечатление? Я молча смотрю в сторону села, где сквозь туман бледно рдеют и точно мигают низкие окна, напоминая огни

проходящего мимо судна. Хвалить песню было бы кошунственно, она не может не нравиться.

— Это первая про «Угрюмое море», — поясняет Серега. — Есть еще вторая — мелодия та же, но слова уже другие. Может, она тебе больше понравится. — И снова мерно ходят, вздыхают мехи гармони, перебегают грубоватые, но проворные пальцы Сереги по кнопкам, клавишам. Он поет чуть склонив голову набок, веки его чуть вздрагивают, чувствуешь, что он сливается с песней нутром.

— Да что мы на улице, — сказал один из парней, когда и эта песня была спета, — пойдем к нам за реку. Оставайся ты у нас, мужик, ночевать. Не побрезгуешь? В бараке-то...

Десять глаз испытующе, с выжиданием смотрят на меня, словно подзадоривая. «А отчего бы не пойти? — думаю я. — Посмотрю, как живут эти парни на промысле, послушаю песни, а утром вместе с ними вернусь на этот берег».

— Кто-нибудь из вас знает Жукова из деревни Нижи? — спрашиваю я.

— Дак кто ж не знает Васька, он из соседней с нами деревни, — отвечает один из парней. — Два дня назад улетел он с двумя парниками на Моржовец, чтоб отстрелять двести голов взрослого тюленя. Лучших стрелков послали. Бить тюленя надо только в голову, иначе под воду уйдет. А у Васьки Жукова глаз-ватерпас. Он из мелкашки белку в глаз уцелить может.

Переходим через замерзшую реку на противоположный берег. Большая изба в две комнаты, с одной стороны вдоль стен узкий проход, так что двоим не разойтись, на всем остальном пространстве устроены нары, на них навалены спальные мешки, тулупы — картина лесной сторожки, в которую неожиданно нагрянуло на ночлег сорок человек.

— Тесновато, — говорит извиняющимся тоном Сере-

га, — но мы люди привычные, всяко жывали на местах.

— Наша жизнь походная, почти военная, — смеется на удивление загорелый здоровяк Иван Широкий, — то на Канином, то на зверобойке, то пошлют на лесоповал, а там уже с июня на тонях сидеть семгу ловить, потом сенокос подоспеет...

— Где ж загорел так? — спрашиваю его.

— Дак весенне солнышко меня жалует, тут и загорел на льдинах... Ко мне загар враз пристаает, порода у меня такая.

Серега не выпускал из рук гармошку и все порывался спеть что-нибудь еще, но я уговорил его немного повременить и стал расспрашивать ребят о их работе, о рыбацкой жизни. Они улыбались, сдержанно и коротко отвечали на мои вопросы. В их вежливых улыбках угадывалось мягкое снисхождение. «Да, работаем, да, ловим рыбу из-под льда, да, временами бывает нелегко...» Я чувствовал, что не так-то просто вызвать этих простых с виду ребят на откровенность — хвастать трудностями и сопряженным с работой риском не принято здесь — это повседневная их жизнь, ставшая нормой. Может, и был у кого из них на сердце осадок, вызванный неудовольствием по поводу устройства их быта здесь, на промысле, и право же, они, дающие колхозу миллионные доходы за короткую зверобойку, заслуживают большего внимания и лучшего жилья, и не стоило бы злоупотреблять их мужественной терпимостью и пренебрежением к неудобствам. Но они ничем не обнаружили этого неудовольствия, не стали выплескивать обиды, не затем звали в гости, не преследовали корыстной мысли, а потому, что дорог им был новый человек и они хотели, чтобы он приехал к ним в гости.

— Ты к нам в Турцию приезжай, вот уж там мы тебе все про наше рыбацкое житье обскажем и на тону повезем, на озера, там все как есть сам увидишь.

— Как в Турцию? — удивленно воскликнул я.

Они засмеялись:

— В Турцию, в Турцию. Долгощелье прозывается Турцией. У нас по побережью каждой деревне свое прозвание дано. В Жерди — кукушки, в Лампожне — кубасники (кубас — поплавок для рыбацкой сети), в Мегре — так цыгане, а в Кижме — чернотропы... Всяко прозвание с историей связано в далекие времена.

— Почему же долгощелов называют турками? — полюбопытствовал я.

— Дак спускался вниз по реке нашей, по Кулою, в петровские времена знатный боярин, — стал рассказывать Иван Широкий. — Ну и загодя послали в село гонца сверху, чтоб предупредить старейшину вывести на берег народ встречать с приветственными криками боярина того. Кричать не трудно, поглядеть забавно. Вывалил на берег народ, а как стало судно к берегу подходить — потеснила толпа тех, что стояли с краю, и один мужик свалился в воду. Тут, конечно, смех, все внимание на мужика, а не на боярина. Тот возьми и обидься — махнул рукой и не стал даже на берег сходить. Только крикнул с судна: «Турки вы» — да и поплыл со своими дружками дальше. А прозвище надежно приклеилось, разнесла молва по всему побережью: турки и турки. Нам что, нам не обидно, раз деды от прозвания не открещивались. Так ты, слышь, обязательно к нам в Турцию приезжай, у нас по реке бора — что одной ниткой дернуты. Глухарь, тетерев, рябчик... На охоту с нами пойдешь... У нас старухи девяностолетние тебе про старое время тако порасскажут — с ходу сочинишь роман.

— Мне про старое время не так интересно, мне про новое охотнее услышать от вас.

— Дак что тут рассказывать — ты приезжай, сам и поглядишь. Вот ты, к примеру, сегодня на льдину летал, все сам своими глазами удостоверил, а что узнаешь с чужих слов — забудешь враз. Село у нас красивое, аккуратное, по-над самой рекой стоит.

Туман продержался сутки, а потом установились погожие холодные дни. Влага из воздуха вымерзла в одну ночь, и он стал обжигающе сух и прозрачен. С угора за деревней далеко и четко открывался горизонт с чуть надломленной кромкой в том месте, где было устье реки.

В считанные дни бригадники взяли со льда недостающее до плана количество зверя, и пришло время разъезжаться по домам. Была последняя среда марта. Вдоль широкой сельской улицы, весело переговариваясь, шагали люди с рюкзаками, с чемоданами, с мешками, а кто и вовсе налегке, направляясь в сторону аэродрома. Там царило необычное оживление, техники скатывали в бухты кабель, снимали установленные на площадках для вертолетов сигнальные огни, заколачивали, грузили в кормовые отсеки ящики с оборудованием...

Я проводил своих друзей и вернулся в село. Улицы опустели, селяне разошлись по домам отдыхать, отсыпаться после напряженной двухнедельной работы. В маленькой, рубленой из бревен гостинице, еще вчера набитой битком и гудевшей, как улей, было пусто и удручающе тихо.

Мне нравилось жить в этой маленькой гостинице, заходить в комнаты к радистам, пилотам, к бензоаправщикам, к инспекторам рыбоохраны, где за кружкой чая каких только историй не довелось мне за это короткое время услышать...

Теперь в гостинице бродил по коридору, глухо брякая по половицам когтями кривоватых лап, кудлатый рыжий пес, недоверчиво нюхал воздух, пропитанный густыми запахами жилья, останавливался у брошенных распахнутыми дверей, но входить в комнаты не рашался.

Я подошел к окну и увидел, как поднимался с аэродрома последний вертолет, на сердце было тревожно и грустно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От Майды до Долгощелья	3
Зимний берег	76

Юрий Павлович Вигорь

У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ

Редактор **О. А. Рябова**
Художник **О. С. Теслер**
Художественный редактор **Л. Е. Безрученков**
Технический редактор **Г. П. Мартынова**
Корректор **Л. В. Дорофеева**

ИБ № 3968

Сдано в набор 04.10.84. Подписано в печать 12.04.85. А04772. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,20. Усл. кр.-отг. 4,46. Уч.-изд. л. 4,32. Тираж 30 000 экз. Заказ 1427. Цена 15 к. Изд. инд. ХД-26

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

ПО «Чертановская типография» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Мосгорисполкома. 113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а.

Во втором полугодии 1984 года
в библиотеке «Писатель и время»
вышли книги:

- В. Воробьев. Не иссякайте, родники.
В. Красильщиков. Трудная честь.
Н. Максимов. За рыбой.
Д. Мамлеев. Вопрос мирового порядка.
Ю. Идашкин, В. Козлов, Л. Кокоулин, В. Конецкий,
Л. Почивалов. У зимы недолог век.
А. Проханов. Ядерный щит.

Над книгами библиотеки «Писатель и время» работают писатели: М. Алексеев, В. Белов, Б. Василевский, В. Выжutowич, С. Высоцкий, Ю. Галкин, А. Емельянов, Ю. Идашкин, В. Козлов, Л. Кокоулин, В. Конецкий, А. Марков, А. Медников, Г. Немченко, В. Распутин, А. Росляков, Б. Рябинин, С. Самсонов, В. Ситников, Р. Хакимов, В. Шугаев.

Приобретайте книги в магазинах книготорга и потребительской кооперации.